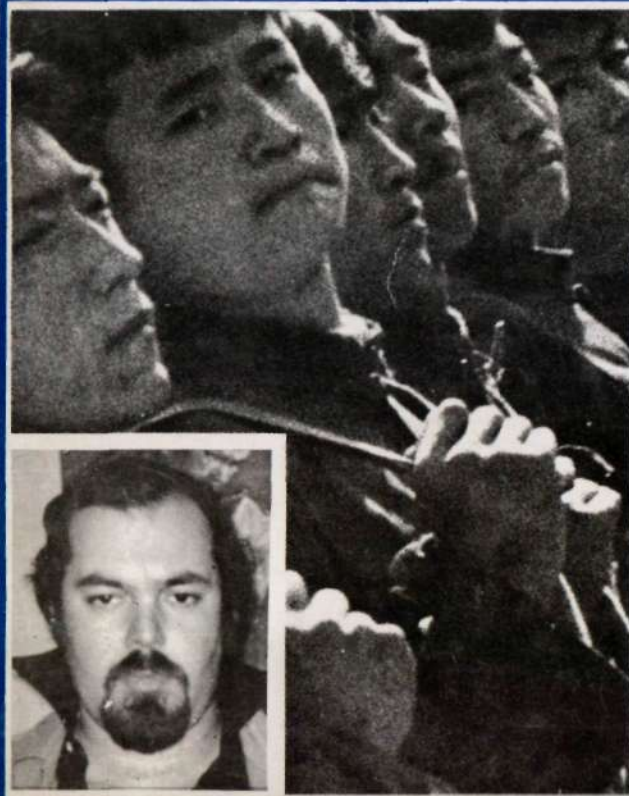


ВРЕМЯ ШЛМБТ 53 1980



В ЭТОМ НОМЕРЕ:

- "ЛЕОПОЛЬД" АЛЕКСАНДРА ТУЧКОВА
- ИНФЛЯЦИЯ ПО-СОВЕТСКИ
- ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕНЗУРА
- ГРОМОВЫЙ ГУЛ
- ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ГУЛАГУ
- НЕИЗВЕСТНЫЙ ХАРМС

*Владимир Рыбаков
Желтое и красное*

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Шестой год издания

Выходит один раз в месяц

53
1980

МАЙ

НЬЮ-ЙОРК-ТЕЛЬ-АВИВ-ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" - 1980

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	ЛЕВ НАВРОЗОВ
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА	ВИКТОР НЕКРАСОВ
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ДОРА ШТУРМАН
МИХАИЛ КАЛИК	ЕФИМ ЭТКИНД

Американское отделение журнала "Время и мы"

Заведующий отделением Эдуард Штейн.
Адрес отделения: E. Sztein, 594 Chestnut Ridge, Road
Orange, Conn. 06477.

Французское отделение журнала "Время и мы"

Заведующий отделением Ефим Эткинд.
Адрес отделения: 4 rue Paul Bert, 92150 SURESNES.
FRANCE.

Представители журнала:

Англия Александр Штротас
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse
W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.

Западный Берлин Лотар Ролл
Lipschitzallee 24, 1000 Berlin 47, Т. 603 33 49

Канада Юрий Лурьи
305 Robion Hall Winnipeg. Manitoba Canada R3t 2N2
t. (204) 474 9773

ФРГ Арий Вернер
Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

OCR и вычитка - Давд Титиевский, июль 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Владимир РЫБАКОВ
Желтое и красное 5
Александр ТУЧКОВ
Леопольд 41

ПОЭЗИЯ

Леонид ИОФФЕ
Светло и обреченно. 58
Илья БОКШТЕЙН
Узоры озарений 64
В. ТУПИЦЫН
Стихи о предках 69

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

А. Б. ИОШУА
О праве и нужде 74
Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ
Абстрактная мораль и живая история. 92

ПУБЛИЦИСТИКА, СОЦИОЛОГИЯ, КРИТИКА

Игорь БИРМАН
Угроза 102
Лидия ВОРОНИНА
Мы потеряли себя в жизни 124
Михаил ВАЙНШТЕЙН
Громовый гул 138

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

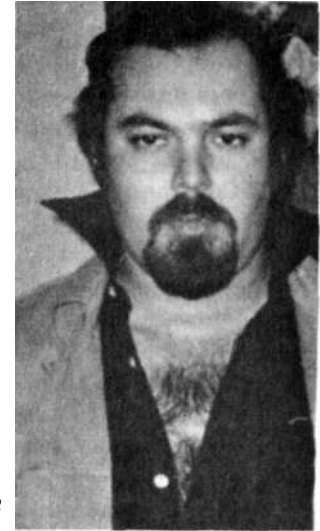
Дора ШТУРМАН
Тетрадь на столе. 152

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Даниил ХАРМС
Неизвестные страницы. 182
Абрам ШИФРИН
Путеводитель по ГУЛагу. 192

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Суета сует. 204



Владимир **РЫБАКОВ**

ЖЕЛТОЕ И КРАСНОЕ

4.

Мы снова пылили по бездорожью. Мариенко и Врулов страдали с перепоя. Крякин им дал по глотку перцовки. Солдатская дружба рождается и умирает от пустяка — они стали смотреть на моего заряжающего с обожанием. Вечером не дал никому ужина, пока все не пришили свежие подворотнички. После принятия пищи налил больше всего самогонки Соколову, стал расспрашивать о штабной жизни со всей возможной дружелюбностью, даже уважением. Кряк и другие только мигали.

Соколов начал рассказывать о дезертирах, о блатных, не сумевших или не захотевших свыкнуться с дисциплиной, о солдатах, которые после убийств, ограблений, изнасилований пытались скрыться. Он нам поведал, что пять месяцев тому пятеро ребят в Восточной Сибири дезертировали как будто без видимых и удобопонятных причин. Они умчались из части на бронетранспортере-амфибии. Увезли с собой много продовольствия, разных хозяйственных мелочей, много боеприпасов, оружия, но, главное, взяли все снайпер-

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

ские винтовки с оптическим прицелом. Они знали, что делали. Когда брали ночью оружие и боеприпасы в ротной оружейке, то не убили дежурного по роте, а могли бы — спокойней, а риск тот же, все равно поставили бы, поймав, к стенке. Они только аккуратно обкрутили его веревкой. Это вызвало уважение.

За ними была послана погоня. "Удивительно, — отметил все более расходившийся Соколов, — что, отстреливаясь, они убивали только офицеров. Они исчезли в тайге, растворились".

Все слушали Соколова, будто прикованные к необычному рассказу. Даже я, испытывая отвращение, глупое и глубокое, к дезертирам, слушал внимательней, чем бы мне хотелось.

Я тоже раз встретил дезертира. Это было на третий или четвертый месяц службы, когда, будучи салагой и курсантом учебной роты, попал часовым на гауптвахту. Дезертир сидел в одиночке, ждал-пождал своего перевода из деревни в город, в дивизию, где его должен был приглубить военный трибунал.

Проходя мимо его камеры, я, нарушая уставы караульной службы, остановился и заглянул. Дезертир лежал, закутавшись в шинель, на трех грубо сколоченных досках и напевал "Блевать, блевать и не просыпаться". Он, наверное, таким образом переругивался с судьбой. Был дезертир щуплым, курчавым, его лицо беспрерывно спешило жить, потому казалось истеричным. Под курносим носом корочкой застывали сопля. Я был тогда зеленым салагой, человеком, еще не отвыкшим от гражданки, и мне стало жаль его. Вновь нарушая устав, заговорил, спросил, не хочет ли закурить. Дезертир кивнул головой. Пока он жадно глотал дым, словно хотел найти в нем забвение, я подумал: "Из-за него уже трижды и четырежды нарушил устав, кроме того, дав ему закурить, тем самым показал, что у меня на посту были в кармане сигареты. Если что-либо узнается — меня посадят в соседнюю камеру. И за что все это? Он же дезертир. Не просто напился, не обыкновенно сбежал в самоволку — он дезертировал,

смылся с глаз, чтоб я в случае чего подох на его месте. В военное время за это расстреливают на месте".

Да, я тогда искал в себе злобу на этого парня. Появилась язвительная мысль, мол, спрошу-ка я, что его толкнуло на предательство, посмотрим, как он вывернется. Ответил он странно, слишком на мой взгляд умозрительно: "Не я предал, меня предали! С детства пичкали, что наша действительность — добро. Иные, такие как ты, я знаю, зазубривают это, чтобы забыть, не забывая, то есть, чтоб ответить, не раздумывая, как надо, когда спросят. А я не зазубрил. Поверил, кинулся в мечту, зрячую, такую, что вот-вот рукой тронешь. И действительность стала резать, как в подворотне, эту самую мечту, душу стала вынимать, честность отбирать, совесть. Тебе не понять. Нет в нашей действительности добра. Есть добрые законы и бесчеловечность их действия."

В глазах дезертира была тоска постоянно несчастного человека. Он добавил:

— Меня предали и, понимаешь, стало невтерпех.

Я дал парню тому — до сих пор сидит, если не помер /такие у нас долго не залеживаются на белом свете/ — еще две сигареты, не мог не дать, и отошел, бросив жалеючи:

— Дурак ты.

Теперь я ему ничего бы не дал. Расстрелял бы, не моргнув, напился бы после, но не как обычно, не до бесчувствия. Чтоб не измениться.

Тот дезертир был тоже своеобразным Адириним. Слишком любил и ценил свет в себе. Мечтатели всегда опасны. Если не гибнут, губят других. Нельзя слишком душить зверя в человеке.

Во мне возмущался и просто солдат. Ни жалость, ни презрение к человеку не снимают с него вины. Устав есть устав. Его надо нарушать, не теряя к нему уважения...

Соколов у костра уже захлебывался от ощущения своей многозначительности. Из-за неподвижности воздуха огонь горел, будто в безвоздушном пространстве. Наверху не было ни одной звезды. Я глубоко затынулся анашой, позвал спокойствие. Оно пришло после пятой затыжки. Тут услышал,

что Соколов начал говорить как раз то, чего я ждал, не о дерзирстве, а о мятеже... А болтать о таком во время выполнения боевого задания... Давай, юноша, давай. Пусть все будут свидетелями.

Но что поведал Соколов, меня все же поразило.

— Дело было в начале шестидесятых годов и опять где-то в Восточной Сибири, будто тайга тянет к себе людей, меняет их, калечит свободой своей. Что происходило в том пехотном полку, осталось неизвестным. Говорили после, что, как на "Потемкине", хотели заставить солдат принимать в качестве пищи гнилое, червивое мясо. Но если бы так было, то не существовала бы уже советская власть. Кто не жрал тухлого, гнилого или червивого мяса, тот и не солдат. Правда?

Кто-то ответил Соколову:

— Правда, да не твоя. Ладно, валяй дальше.

— Ладно тебе. В общем, полк психанул. Весь. Это не сказка. И дело это повели офицеры. Забыл фамилии. Часть офицерского состава была восставшими, мятежниками, в общем преступниками уничтожена — расстреляли их после солдатского суда, самосуда, значит. Об этом после рассказали те офицеры, которых пощадили — их только заперли в каком-то подземном складе вместе с боеприпасами. Затем весь полк снялся. Все полковое имущество было погружено на грузовики. Новые командиры взяли в штабе путевые листы, печати, все, что надо. И так батальон за батальоном они проехали спокойно через все населенные пункты без остановки до тайги — более трехсот километров.

Спецчасти нашли через три дня брошенные грузовики. Сами знаете, если не козлы, что по нашей тайге можно переть тысячи километров до моря Лаптевых, Карского моря или еще чего, ни одной души так и не встретив. А искать в этом деревянном океане людей вообще глупо — море не прочтешь. Все же послали — от бешенства — воздушную разведку. Но какой же беглец будет днем в тайге разводить костры? Это же даже дети знают, что видимый дым — враг и смерть. Вот так. Был полк, не стало полка, испарился. Говорят, в тайге еще со старых времен, ну, сталинских, якобы много

людей живет, будто там даже какие-то республики они создали. За что купил, за то и продаю. Но насчет того полка, то не все еще сказал. Через полгода в селах стали пропадать девки да бабы. Говорили, что пропало много, говорят, что они продолжают пропадать. Колхозники божились людям из органов, что видели ночью группы ребят без погон, с оружием, бородами. Бородами, понимаете? Без баб, понятно, республику не учредишь. Вот так.

Все, что говорил Соколов, не было сказкой. Зорин не скрыл от меня существование этого человеческого чуда. В наших условиях рваться и добиваться свободы, не переходя государственную границу?! Но для майора это было делом обычным. Раньше бежали на Волгу, затем на Дон. Теперь бегут в тайгу. Зорин считал идеологию необходимым злом и старался, по мере своих сил, найти во всем российскую преемственность. Для него русский народ был всегда анархистом. Ему нужны были для порядка сначала варяги, затем монголы, долго — византийская идеология, которая вот теперь сменилась коммунистической. Потому-то и люди у нас всегда прячутся от власти, где только можно. Останется место на ледниках — туда залезут.

Дело простое — спрятаться от коммунизма национализмом, делать это до тех пор, пока эти две силы не сольются. И тогда пусть мир дрожит, он уже дрожит — пусть сгинет...

Костер догорал, позади где-то далеко пал превращался в степной пожар. Мне было наплевать — его дорогу к нам преградит речка. Мы ее перед ночлегом перешли, обмелевшую, но все еще сильную для взбесившейся степи. Там биллионы биллионов букашек пытались спасти себя и свой род глупым бегством, теперь сами уже разумно бросались в огонь. А их род по ту сторону вод будет ждать, затем вновь заселять ожившие травы, сгоревшие, но не сгнившие на корню.

Один алкоголик мне давно уже сказал с удовольствием: "Воняет человек, ух воняет".

Тлеющая степь пахла, странные запахи не говорили о смерти, скорее о тяжелом сне. Я втянул в себя дымоватый воздух.

Вокруг костра спала вповалку вся братия. Крякин чуть ли не обнимал Соколова. Мне нужно было прикончить хоть одного китайца, двадцать было бы еще лучше. Комполка должен не только мною гордиться, не только хвастаться моим отделением, расчетом, сержантом Волковым. Я должен стать его хорошей оценкой, его необходимой пешкой для проведения дамки — отличной пенсией, повышением звания.

Еще одна сигарета, еще один косяк анаши налил мне внутрь еще ледяного спокойствия и отогнал сон. Ночная духота сдавливала тело. Появилось ощущение, будто мир умирает. На нем сидели в обнимку и мило смеялись две лесбияночки. Они гладили себя, друг друга и распаренную до смерти землю. Им это нравилось.

Я поднял голову, открыл глаза. Над головой не было неба. Ни одной, нужной взгляду, звезды. Подумалось: "Плевать. Мне должно повезти. Должно".

Весь следующий день мы перли по золе, вертящейся в сонном воздухе. Горячая вода во флягах не утоляла жажды. Первым не выдержал Мариенко — стал палить из пулемета по глядевшей на него птице. Коричневая, она четко выделялась на солистой земле. Круглые глазки глядели неподвижно. Ей было просто интересно. Мариенко показалось, что она голодна — и ждет. К вечеру заплакал Соколов. Даже мать вспомнил. Я толкнул плечом свирепевшего Крякина:

— Спокойно. Сколько можно повторять: спокойно. Нет, ты себе только представь — мы тут, а рядом лесбиянки живут. На свободе. Гуляют. Это все равно, что ананасы жрать.

Заряжающий захрипел:

— А ты их пробовал?

— Что, лесбиянок?

— Брось ты, ананасы.

— ...Может, в детстве. Не помню.

Кряк посмотрел, как из-под гусениц вылетал пепел:

— Я бы не забыл.

Я ему протянул флягу с тухлой водой.

5.

В тот день по вине Заварухина девка Крякина, биробиджанская красавица Лида Снобина, чуть не осталась его невестой на всю жизнь. Водителю Заварухину, вероятно, страстно захотелось мять не пепел, а траву своим тягачом. Он нашел какую-то речку, отыскал жадным глазом брод и врезался в него. Радость сидеть в воде была такой большой, что я вспомнил о своих обязанностях только часа два спустя, к самому началу вечера. Меня насторожила особенная тишина вокруг. Не ту тишину, которую слышишь, ту, что чувствуешь затылком, внезапно выскочившей настороженностью.

— Стой! Кряк, пойди погляди, что вокруг. Осторожно.

— А-а-а, ладно.

Разобравшись в карте, проверив раза два, я уверился, что тягач наш стоит на самой что ни есть границе. Я молча посмотрел на ребят, и те также молча бросились к оружию. Раззявив слипшийся рот, заглотал то ли нашего, то ли китайского воздуха. Поперхнулся. Лица вокруг желтели, жухли, как трава.

— Спокойно, спокойно. Приготовиться к бою. Мотор не глушить. Меня ждуть тихо. Услышите две-три очереди — вперед. Двадцать-тридцать — назад и с оглядкой — без оглядки. Ясно? Повторить приказ!

Убедившись, что люди поняли и подчинятся, я, пробормотав "лесбиянки, понимаешь, лесбиянки. Почему не Эйфелева башня вниз головой", — пошел вперед, туда, куда ушел мой заряжающий.

На этой чертовой границе росли в обилии кусты, куцые деревья. Нигде ничего не было вспахано, расчерчено. Можно было войти в Поднебесную, в желтый пуп земли, как к себе домой. Я шел тихонько, иногда ложился на землю, глядел в бинокль, чаще — на землю, ища труп Крякина со штыком в спине. Сам я боялся, но чувствовал себя бессмертным. Мне даже хотелось пострелять, но вместе с тем было отвратительно неприятно ждать звуки выстрелов. Стало холодно в спине, но руки не вспотели и от этого я себя, как-то со стороны, увидел настоящим солдатом. Автомат стал, как еще никогда

не был, родным существом. Он медленно, будто живой, чертил передо мной полукруги. Увидев сквозь листья сильный просвет, подполз, просунул голову. Она дернулась, спряталась, ужаснулась. Мозги затряслись, забуксовали. Впереди на довольно коротком поле стояли в тридцати метрах друг от друга Кряк и китаец с направленными друг на друга автоматами. Неподвижно, каменными бабами тех людей, живших здесь до нас, а, может быть, и до китайцев. Мой мозг вновь заработал, лихорадочно, нагромождая друг на друга вопросы: мы где, у себя, или в Китае, что делать, стрелять или не стрелять, как спасти его и себя. Неужто мне суждено остаться тут на радость парторга?

Не ответив, даже не попытавшись, я подождал и ко мне пришла мысль, что при известии о моей гибели парторгу не будет так уж радостно. Терять старого врага не так приятно, как это кажется.

Прошло секунды две, и только тогда я увидел в бинокль, что позади стоящего китайца, в метрах десяти-пятнадцати, лежат в невысокой траве еще несколько желтых людей с карабинами в руках. "Все. Это, это значит каюк. Но почему они не кончают Кряка? Им своего, стоячего дружка, жалко, что ли? Ладно, а почему, взвесив, подумав, они все-таки не начали стрелять? Я поглядел в бинокль на лицо Крякина. Оно было напряженно-усталым. Посмотрел на его руки — не дрожали. У стоячего китайца было точно такое же выражение лица. Они ждали и, наверняка, зверски хотели жить. Я вдруг понял, почему те, что сзади, не стреляют. Они слышат гул мотора нашего тягача и не знают, сколько нас, зачем мы здесь, какое у нас вооружение. В общем, они себе ставят не меньше безответных вопросов, чем я. В любом случае, с ответом или без, мне нужно было попытаться спасти своего заряжающего. Я внезапно перекрестился и тут понял, что собираюсь, оказывается, выползть туда, к ним, к черту на рога, к дурной своей гибели.

Время сжималось, прыгало, растягивалось, а я все жил и полз.

Неподвижно стоящий китаец смотрел на меня, не меняя лица. Хотелось пить, захлебнуться, откашляться. Мой автомат в правой руке мог от всякого лишнего испуга тела разорвать висевшую на соплях шумиху трав и птиц, чтоб гомон затем вновь возобновился — уже пролетая над трупами... моим, что ли...

— Кряк, сука. Кряк!

Я лежал шагах в десяти от своего заряжающего. У меня болели корни волос. Автомат нудно бормотал мне о своем желании, простом и нормальном, поработать. Какая-то мерзость ползла по шее, то ли жук, то ли холодный пот. От жары начинала кружиться голова.

— Кряк! Блядь! Отступай. Медленно. И не стреляй, блядь, не стреляй.

Он не слышал, либо я не произносил важных этих слов. Я внезапно осознал, быть может, спинным мозгом, что у меня остались считанные мгновения... напряжение тянулось слишком долго. "Скоро птицы замолчат. Заткнутся. Отскочат. Надо этому помешать".

Из меня вырвался спокойный сержантский голос-окрик:

— Крякин, приказываю вам отступить. Медленно, не паникуя. Не открывая огня. Выполняйте приказ.

При первом крабьем шаге заряжающего китаец скопировал его в точности.

Оказавшись за кустами, Кряк сел. Китайцы уходили, подерживая своего товарища. Мне совсем не хотелось по ним стрелять. Крякин попытался встать. Ему не удалось — ноги были, как у новорожденного.

— Я шел — вдруг он выскочил. Из-под земли... В общем, почти... Мы направили друг на друга пушки — и что-то произошло.

—Что?

Он посмотрел на меня, будто я у него спрашиваю, где же, в конце концов, конец бесконечности, затем попытался разжать свои руки, держащие автомат, поборолся с неотпускающей судорогой:

— Сержант, мне надо отдохнуть. Подожди, дай отдышаться. Я издалека пришел.

— Это точно. Козел! — Я разорался. — Вонючий, вшивый козел! Смотреть надо? А ты по Китаю прешь. Чего я должен из-за тебя шкурой рисковать?!

Руки Крякина разжались. Он лег на спину. Я последовал его примеру.

"Все ему подражают, сначала китаец, затем я". Меня эта мысль позабавила.

— Сержант, знаешь, ты меня выручил. Я не мог двинуться. А он? Тоже, что ли, не мог?

Что я мог ему ответить, если не повторить слов, которые не так давно мне сказал заряжающий:

— Мы живы.

Он смог встать только при четвертой попытке. Масса его тела колебалась, ища покоя и заставляя себя найти равновесие. Я стукнул грудь друга со всего размаха. Он упал, вскочил, хотел броситься, остановился. Понимающе улыбнулся:

— Теперь все в порядке. Откуда ты знал, что надо так сделать?

— Меня еще в детстве научили, что злость — большая сила. Теперь слушай. Это не граница. Ты никого не встретил. Соколов ничего не должен знать. И не вздумай в части похвастаться. Понял?

Кряк обиженно промолчал. Я его обнял за плечо:

— Не сердись. Так надо.

— Ладно.

"Он проболтается. Что бы ему пообещать?"

— Снобиной расскажешь. Увидишь, нам повезет, и комполка даст отпуск. Хотя бы недельку.

Заряжающий засиял. В его глазах появилось много давно уже мною не виданной нежности. Я даже забыл о ее существовании. "Любовь, черт ее дери, дикая штука. Хуже китайца. Но без него можно, а без нее нельзя. Пусть мечтает. Мне нужна свобода, а ему любовь. Ему нужно только и всего, что остаться в живых, получить отпуск и отправиться в Биробиджан к своей сибирской Ревекке. Эх, мне бы его заботы, был бы счастлив без просыпа, да еще с целым пудом нежности".

Ребята под и вокруг тягача завизжали, услышав наши шаги:

— Кто идет!? Стрелять буду!

Кряк так рывкнул, что я невольно схватился за автомат.

— Что?! Опять? Сук-ки-и!!!

Мариенко, увидев нас, виновато сказал:

— Мы ж не знали. Так же положено.

— Правильно сделали. Так и надо. Ну, ребятки, все в порядке.

Все вслушивались в мои слова с нескрываемым подозрением. Они помнили выражение моего лица, знали, — что-то случилось. Я улыбнулся:

— Сегодня всем всякое мерещится. По птицам палим, режем, по карте не умеем читать, за всяким кустом желтое падло кажется. Ладно, здесь пожрем и дальше попрем. Еще трое суток — и домой. Или нет. Пройдем еще пару километров до наступления темноты. После ужина — всем сон от пуза. Вперед.

Пока собирались, подошел к Заварухину. Водитель прятал глаза:

— Заткни пасть. Ты куда попер? Молчи. Скажешь слово — сгною.

Заварухин прямо подпрыгнул от радости. Он-то знал, что мы на границе, тоже умел со своей картой обращаться. И понял, что произошло, и ждал худшего. Он боялся, что я его возьму на карандаш, стану преследовать, подсчитывать его ошибки, теснить к трибуналу, дисбату. Вышло, что нужно только молчать, да еще как раз, когда только и хочется, какое там молчать, забыть. Ничего не было. Ничего не могло быть.

Соколов вертел головой. "Бедняга. За мою голову парт-орг наверняка обещал ему месячный отпуск, а, может быть, и досрочный дембель".

Мне все же было немного жаль, что Соколов вывернется. Я должен был даже молиться, чтобы в случае чего, рядового Соколова минула шальная пуля.

Поднялся обдувающий сопки легкий ветер. Он был, как кружка воды в пустыне. Костер баловался. Анаша краснопогонника была хорошего качества, но на этот раз не могла при-

нести спокойствия, бездумия. Я думал о парторге. Солдат во мне сопротивлялся планам свободного человека, для которого уничтожение подполковника было одновременно мстью и спасением своего будущего. Солдату легче уничтожить лейтенанта, чем полковника. Глупо, но верно, глупо, но нужно для армии. Во мне теперь все чаще солдат пересиливал свободного человека. Только инстинкт самосохранения, только животная жажда выжить во что бы то ни стало и дожидаться дембеля, мешали солдату во мне слепо идти по пути долга, уставов, быть быком, готовым выполнять все правила игры, на арене или на бойне — все равно.

Ночью меня сменил Врулов. Я ему посоветовал держаться на всякий случай подальше от костра и приказал больше его не кормить — запас дров в кузове тягача кончился, а нам предстояло провести под звездами еще две ночи. Во всяком случае, пора было возвращаться — отсутствие витаминов уже давало о себе знать, у некоторых ребят пухли и кровоточили десны, что само собой снижало боеспособность и тем самым уменьшало шансы удачного выполнения боевого задания. Я подумал об этом, подшивая себе в темноте чистый подворотничок, чистя сапоги.

Под утро воздух, который толкал подходящий Крякин, разбудил меня.

— Не спишь? Я не могу. Ноги дрожат, с чего бы это? Знаешь, я там понял, что люблю по-настоящему Лиду. Я на ней обязательно женюсь. У тебя выпить осталось?

— Нет. Пошел бы ты спать. Мало нам осталось. О любви твоей нежной расскажешь после.

— Дай тогда зелья.

Он решительно сел подле меня, глубоко задышал:

— Издеваешься. А я не прячусь от этого слова — да, люблю. И знаешь еще что: встретился бы я теперь с тем китайцем, не мог бы его пристрелить. Мы с ним вдвоем столько пережили... Правда.

Многим людям кажется, что все сильно пережитое, все набитое острыми эмоциями меняет их видение жизни и видоизменяет их поступки в будущем. Они кажутся себе лучши-

ми, чем были раньше. Людей привлекает необыкновенное, пусть мимолетное, огромнейшая же сила обычного в нашем существовании не привлекает внимания. Те силы, что час за часом, день за днем овладевают нами, не представляются нами вовсе, либо презираются за скуку.

— Нет. Нужно будет, пристрелишь. Нужно будет, меня пристрелишь. Приказ есть приказ. Разве не знаешь? Хочешь, я тебе расскажу одну быль? Думаю, теперь можно.

Заряжающий кивнул едва видимой в начинающем рассвете головой.

— Давай. Только не верю, что ты можешь меня пристрелить.

Он ошибался, впрочем, как все, не знающие о двойственности всякого творения, человеческого и Божьего — все равно. В данном случае Кряк разглядел присутствие во мне свободной воли, данной, как говорят верующие люди, Богом, но не увидел пожирающей ее другой воли, чужой, навязанной, без которой не было бы на свете ни чиновников, ни солдат.

Наступившее молчание показалось, вероятно, Крякину неловким скрежетом тишины. Он резко и беспокойно задвигался, давая понять, что ждет рассказа. "А что, почему бы и нет? Кушков — интересный человек, а тебе, фазану в армии и салаге в жизни, стоит послушать. Ты все равно не донесешь, да и до подъема еще время осталось".

— Звали его Николаем. Фамилию тебе знать ни к чему. Пензенский. Был сержантом на аппаратной дальней связи. Я тогда был еще курсантом. Я его накрыл, когда он пер из моей тумбочки одеколон. Он из дома денег не получал, а выпить каждому хочется. Я не поднял крика, не донес. Взял из руки его бутылочку, поглядел да вернул ему. А чтоб не думал, что делаю это от слабости, из страха, слегка вывихнул ему руку. Так и подружились. Скоро его куда-то перевели.

Позабыли, как водится, друг друга. Однако встретились. Он меня увидел на автобусном вокзале во Владивостоке. Я удивился. Николашка этот должен был быть в своей Пен-

зе, и давно. Он был на гражданке уже больше года. Он не забыл того оделокона. Позвал выпить, закусить, а после, зная, что мы уж больше никогда не встретимся, поведал мне о случившемся.

Николай попал на Сахалин. Ему повезло — определили не в строевую часть, стал телефонистом на точке дальней связи. Сам знаешь, уставы не существуют, строевой подготовки нет. Всегда крыша над головой. Отдежурил смену, спи, гуляй. Не жизнь, а малина. Летом сидишь на солнышке, зимой у печки. Инспекции редки. На точке все друзья, иначе не то, что жить, существовать невозможно. Хлеб берешь в ближайшем поселке, тушенку — настоящую — привозят на несколько месяцев вперед. Продашь несколько банок китайской тушенки — и готова бутылка водки для согрева души. Там, на Сахалине, во время летнего муссона или осенью, от воды и ветра падают телеграфные столбы, Представляешь, все воеет, падает, рушится, а ты сидишь в тепле, не жаре, и попиваешь чего-то с закуской. Да, так вот, там-то, у берегов, радиосвязью не побалуешься, японцы, американцы близко, могут подслушать, как матерится или договаривается о рыбалке, охоте офицерье наше. Так что на Сахалине в основном пригодна только кабельная подземная связь, тянувшаяся от одной точки к другой. Ширина острова в месте расположения точки, на которой служил Николай, была километров десять. Неподалеку проживал своей маленькой жизнью поселочек городского типа, рыбу там калечили, коптили или еще что, птицеферма была. В поселке — много корейцев. Оказывается, что их теперь на Сахалине проживает еще что-то около тридцати пяти тысяч. Вишь, сколько у нас иностранцев? Да, продолжай. Николашка, сработав из запчастей приемничек, пошел дурным солнечным днем на птицеферму с надеждой обменять его на петуха или другую жирную птицу...

Крякин меня резко прервал:

— Не режь без ножа. Без петухов. Умоляю... Ну, а дальше?

— Дальше он познакомился с узкоглазой и чуть желтенькой Татьяной Ким. По себе должен знать, что встречаются вот так случайно молодые люди, а когда расстаются, то вы-

ясняется — нудно это, тоскливо не видеть друг друга. Встречались они тайком, Таня объяснила, что ее отец, узнав, что дочь влюбилась в русского — так и сказал — солдата, пришел в бешенство. У корейских папаш бешенство заключается, понимаешь ли, в особом, очень томительном молчании. Николай удивился: "А чего он, расист, националист какой?"

Таня ему разъяснила, что ее отец и мать были привезены во время войны на юг острова. Историю знаешь? Когда наши войска отхватили и эту часть Сахалина, японцы успели смыться, а корейцы попали, как говорится, с корабля на бал. Им запретили вернуться на родину. Через несколько лет некоторым все же разрешили отправиться в Корею, но только в северную. Что стало с вернувшимися, никто не знает — ни письма, ни весточки.

Николай тогда внезапно сказал, будто обыденное: "И не ищите, их расстреляли". Он даже не понял, откуда у него это знание. В каждом человеке. Кряк, много знания, даже просто информации, никогда не превращающихся в слова, в мысль. У тебя тоже. Ты сам себя защищаешь, того не ведая. Иначе чувство-знание превратилось бы в мысль, мысль — в дело, а там и до гибели недалеко. Понял?

-Нет.

— Ладно, а ты понимаешь, что обыденное, такое знакомое, что его и не замечаешь, вдруг увиденное с необычайного места и в новом освещении, может поразить наше сознание своей новизной? Так и случилось с Николаем. Им же сказанное его же и изменило. В общем, прошли месяцы. Теперь, когда они взбирались на гору и садились под каменной березой, Николай слушал Таню с сильным волнением и искоса поглядывал на уже выпирающий живот будущей матери его ребенка. Она говорила: "Многие из нас примирились со своей судьбой и забыли родину. Но среди нас есть тысячи, готовые на все, чтобы вернуться. С месяц назад четверо наших пытались добраться до Хоккайдо. Ваши их перестреляли в море". Николай подумал: "Береговая охрана. Отличные ребята". Таня продолжала: "Я верю в тебя. Разве можно любить, не веря? Прости, но я скоро сама пойду. Я хочу, чтоб и мой и"

твой ребенок был свободным. Мы должны достать мотор для лодки". Николай заорал: "Какая свобода?! О чем ты говоришь? Ты наша, советская, тут и родилась. Забудь! Не будет этого!" Но он видел по таниному лицу, что — будет. У него был блат в мастерских рыбпромхоза — он сам собрал мотор. Николашка сказал, что все месяцы подготовки к побегу он был лунатиком. Несколько раз видел себя идущим в комендатуру доносить. На деле он указал Тане место, где на берегу можно спустить лодку на воду с наименьшим риском наткнуться на патруль. Николай сказал, что чуть не сошел с ума. Таня стала для него самой жизнью, ее запах — кислородом, и все такое. Чепуха, но болезнь, вероятно, особенная.

Голос жадно слушающего меня заряжающего был патетически хриплым:

— Врешь. Это не чепуха. Я знаю.

— Ладно, ладно, не перебивай, рассвет уже... Николай, значит, провожал корейцев безлунной дождливой ночью. В случае встречи с патрулем он бы откликнулся и дал бы Тане и ее друзьям возможность скрыться. Он захватил с собой автомат — в нем было десять патронов /он их украл в оружейке еще до своего перехода на Сахалин/. Николай обнял Таню, стараясь не нажимать на ее живот...

— Не издевайся.

— ...Она всплакнула, рыдание унеслось с ветром к волнам...

— Сержант, в морду дам...

— ...Они пошли, таща лодку, припасы, воду. Возлюбленный глядел им вслед. И вот тут-то и произошло то, что могло произойти. В нем проснулся солдат. Даже не проснулся, а вырос, возник — огромный, необходимый в это самое мгновение. Не Таня, не любовь шла по пляжу, не люди, желающие свободы, топали, шуршали лодкой, а — враги, предатели. На его глазах происходил незаконный переход границы. Слова слишком просты. В Николае на деле происходило что-то вроде космического взрыва. Рука сама сняла предохранитель, перевела на автоматическое, передернула резко-привычно

затвор, руки направили ствол на шуршание. Он очнулся, когда палец дотронулся курка. Николашка тогда, в ту ночь, когда, кроме волн, уже ничего нельзя было услышать, упал и бил себя кулаком в лицо. Мысль, что он чуть не убил своей рукой будущую жену и будущего ребенка, его скрутила сильнее кондрашки... Когда его встретил во Владивостоке, он уже некоторое время работал в порту, копил золото. Он хотел подкупить кого-то из команды какого-нибудь японского судна и спрятаться в выдолбленном стволе — сам знаешь, сколько нашего дерева идет в Японию. Сейчас он либо с женой и ребенком, либо в лагере.

Крякин взволнованно сказал:

— Видишь, он победил. Не стал гадом.

— Ты ничего не понял. Быть настоящим солдатом не значит быть гадом. И не выстрелить в мать своего ребенка — одно, а пощадить китайца — другое. Ты все-таки салага. Ладно, буди людей.

Пока собирались, трогались в путь, я все думал о Николае Кушкове. И понимал, что хотел, в сущности, выкинуть его из памяти, вычеркнуть. Может быть, потому, что он напоминал мне бескомпромиссного Адирина своей честностью, немного глуповатой, порой мучительной, но все-таки прекрасной. "Тьфу, черт. С такими мыслишками не вывернешься. Кушков, наверное, в лагере, а его Таня на дне моря рыб кормит. Может, это и прекрасно, но не для меня. Вперед. С волками жить — по волчьей выть".

Через три часа мы наткнулись на китайцев.

Тягач, взобравшись на большую сопку, взревел дизелями. Воспользовавшись возвышенностью, я стал осматривать окрестности в бинокль. Пыль вдалеке приковала внимание. Там что-то двигалось. Граница была в шести километрах.

— Приготовиться к бою. Без моего приказа не стрелять! Повторяю: без моего приказа не стрелять!

Я чувствовал, как сжимались мышцы всего тела. Сразу стало очень жарко. Крякин задрожал, остальные только побледнели. Подносчик Мариенко разрезал тишину, переставшую быть монотонной:

— Это наши. Это, наверное, наши.

При этом он чуть не ткнул мне в живот стволом автомата. Я отодвинулся и осторожно стукнул его по-отечески рукой по затылку. Я знал, что это не были наши — пыль поднимали ноги человека, а не колеса грузовиков, не гусеницы танков или тягачей. А наших гражданских здесь быть не могло. Следовательно...

Они внезапно появились в метрах трехстах от нас, зажатые двумя сопками. От неожиданности Заварухин так затормозил, что мы повалились. Я все же успел заметить, что китайцы не вооружены. Падая, я опасался больше всего удариться виском о что-то острое и потерять сознание. Эта мысль заставила меня заорать, не почувствовать боль в спине, вскочить на долю секунды раньше всех. Резкое заторможение тягача воспринялось ребятами как чуть ли не прямое попадание. Кряк, позабыв о своих благих намерениях, но не позабыв свой вчерашний страх смерти, бросился с перекошенным лицом к пулемету, Мариенко — к ящику с минами, Соколов, мужественно визжа, схватил автомат.

Я успел ударить заряжающего сапогом в ухо, тягач рванулся с места — на мое счастье — и все вновь попадали. Я сумел прежде, чем они успели нажать на курок и дорваться до миномета, разбить Соколову губы и, падая, направить свою голову на живот Мариенко. При этом не переставал орать до боли в глотке:

— Не стрелять! Не стрелять! Блядь-дь-дь!

Приклад чуть не проломил мне грудь, пальцы оцарапали висок. Наконец клубок человеческих тел остановился — оружие так и не заговорило.

Опомнившись, я закричал первое, что пришло на ум:

— Смирно!

Все застыли. Застыл и я. Заварухин пер прямо на китайцев. Через несколько минут он врежется в желтое мясо. Китайцы вдруг легли, и Заварухин опять от неожиданности резко затормозил. Поднявшись, матерясь, мы уставились на не двигающихся в пятидесяти метрах от нас людей. Я успокоился. "Лишь бы они не вскочили".

— Спокойно. Это гражданские. Без оружия. Ясно?

— Нет. Приказ был — в плен не брать. Нечего сними нянкатся. Я сам их...

Соколов говорил со злостью, но с места не тронулся. Я указал на него пальцем:

— Сволочь ты. Не видишь, что тут бабы и детишки. А приказы здесь отдаю я. Их тут больше сорока человек. Я пойду к ним с ефрейтором Крякиным. Они будут вставать по одному. Не стрелять. Сколько можно повторять. За себя в тягаче оставляю Мариенко. Если Соколов выстрелит — кончайте его. Все.

С автоматами наперевес мы с заряжающим стали шагать к лежащим китайцам. К Крякину вернулось таежное спокойствие. Я гадал: "Повезло? Не повезло? Если среди них, желтых, хоть один псих с пистолетом или гранатой, тогда не повезло".

Никто не двинулся, не шелохнулся. Даже маленькие детские ватники сохраняли совершенную неподвижность. Русский бы шевельнулся, зачесался бы, что ли, с любопытством приподнял бы башку.

Внезапное желание всех их убить я поборол с трудом большим, чем мог от себя ожидать. Страх, смешиваясь с мыслью, что они безнаказанно находятся на нашей территории, был трудно терпимым из-за своей силы и истеричности. Я визгливо закричал:

— Вставать по одному! По одному! И руки вверх! Стрелять буду без предупреждения!

Один старикашка тихо встал — его движения были плавны — и спокойно сказал по-русски, с сильным акцентом, но внятно:

— Не беспокойтесь, товарищи, мы сдаемся. Мы к вам шли для этого.

Я машинально повторил слова краснопогонника:

— Товарищ тебе тамбовский волк, сволочь. Держи руки как следует. Откуда русский знаешь?

Глаза-щели китайца превратились в щелочки:

— Научили, а после сам учил в школе. Тогда мы братьями

были. Тогда хотели наши граница открыть, дорогу сделать Пекин — Москва.

Крякин машинально поправил:

— Москва — Пекин.

— Да. Тогда я ваш язык и выучил.

Руки, несмотря на усталость, он держал высоко. Ощущение опасности уходило из моего желудка, пальцы рук обретали гибкость.

— Кряк, обыскай их всех, внимательно, время у нас есть. Понял? Не торопись и следи за ихними руками. Я тебя прикрою.

Затем обратился к тихому китайцу:

— Скажи твоим, чтоб вставали по одному, медленно, справа налево, чтоб, поднимаясь, поднимали руки. Медленно. Скажи им, зла не хочу, но при малейшем резком движении стану стрелять. Ты понял?

— Да.

Все прошло благополучно. "Повезло. Как повезло! Баран уверен, что будем палить без разбору, что нервы не выдержат. Не вышло, не вышло. Какую тебе, а мне — жизнь. Я победил тебя... Почти". Мне захотелось привести пленных прямоком в часть, для впечатления. По пересеченной местности это составляло около пятнадцати километров. Я построил китайцев в ряды, сзади поставил тягач, с двух боков — своих людей. Детей было семь штук, старух — двенадцать. Ко мне подошел Мариенко:

— Сержант, посмотри, они же с голоду начинают пухнуть. У ихней малышни глаза побольше наших стали. Может...

— Ну, договаривай.

Мне было обидно, что сам этого раньше не заметил, об этом не подумал. "Ишь, Мариенко".

— ...Давай им дадим, у нас же осталось кое-что. А?

"Да, это по-нашему. Только вот в морду им бил, а они меня, чтоб они всех не покончили, а теперь свое им хочет отдать. А что, правильно. Все правильно". У меня в вещмешке оставалось банок пять сгущенного молока. Рыбные консервы были. Хлеб.

— Раздай. Банки сам режь. Ложек не давай. Ничего железного.

Мариенко поглядел на меня с нескрываемым уважением.

Китайцы спокойно разделили данную им пищу — вытащили из своих мешков рис и палочки /Кряк во время обыска ничего вообще не нашел предосудительного/ — и только затем, как по приказу, набросились на еду, страстно и вместе с тем сосредоточенно.

Мы вокруг посмеивались.

Людское стадо поднимало пыль. На лицах нельзя было прочесть тревоги. Они часто, пожалуй, даже с беззаботностью, сплевывали. Еда, хотя ее оказалось совсем мало для сорока четырех человек, влила в них силы. Шли бодро. Детям дали сгущенку. Постепенно мысль, что мы могли их всех перестрелять, ужаснула меня, набила стыдом. Кровь хлынула в голову.

— Д-а-а-а.

— Чего ты?

Заряжающий откашлялся:

— Люди ведь, правда? Ты мне здорово в ухо зафиндячил. Правильно. И то, что ты вчера говорил — тоже правильно. Не думал я, что такое может со мной произойти. Да еще после того, как ты о той любви рассказал. Ничего не могу понять.

— Забудь. Мы же живы. Это страх после встречи с тем китаезом в тебе заговорил. Ты и захотел от него избавиться. Клял бы себя всю жизнь. "Нет, Кряк, несколько дней, пока бы не забыл".

Соколов, поравнявшись с нами, сказал чуть дрожащим голосом:

— Глади на того мальчика, прямо присосался к пустой банке. Сержант, ничего нету больше?

Я рассмеялся:

— Если ты, штабная крыса, расчувствовался, то мы этот их и не доведем, остановимся и начнем баню строить. Давай, топай и гляди в оба. Тоже мне, звери-человеки.

"А ведь перестреляли бы мы их на расстоянии и пошли бы себе дальше припеваючи. Я всегда говорил, что душа и совесть близоруки".

Мы подошли к нашеязычному китайцу. Его лицо изображало живейшую радость.

— Чего радуетесь? Что живы остались?

КРЯКИН добавил:

— Не бойся, папаша, говори. Тебе ничего не будет.

КИТАЕЦ поглядел с широкой улыбкой, весело сплюнул раз, второй. Скосил глаза на вещмешок Крякина, в котором были все собранные китайские документы, и сплюнул уже со злостью:

— Я не боюсь. Счастлив. Мы бы все умерли от голода. Голода. Голода. Да. Или мы восстали. И нас убили. Бы. Таких, как мы, много. У нас, но мы жили в четырех днях пути от границы, и я много знаю о этой стране. Я ездил два раза в Владивосток, когда был молодым. Молодым. Почти здесь все мои родственники, родные. Теперь мы будем жить.

Заряжающий кивнул головой и поспешил:

— Да. Скажи, папаша, а как вы у вас относитесь к евреям?

— Кому?

Я объяснил:

— К сионистам.

— Не понимаю.

— Ну, к Израилю.

Старик сплюнул:

— Радио, газеты говорят, что плохие они. Раз так говорят, значит, хорошие.

Мой заряжающий успокоился, впрочем, он вряд ли серьезно думал, что китайцы могут быстро прийти до Биробиджана. А может и думал. Не зря же при каждой ставшей известной людям провокации на границе народ в некоторых областях, на тысячи километров от границы, бросается покупать спички и соль. Я сам не так давно так думал. "Где же истина?" Но спросил я старика о другом:

— Лесбиянки у вас есть? Ну, женщины, которые спят с другими женщинами.

Старик хихикнул:

— Официально нет, давно нет. Председатель Мао давно их

нет сделал. Но я их видел даже, если не существуют. Это правильно, человек, если это не мешает жить другим, должен иметь право делать, что хочет.

Ответ старого китайца мне понравился настолько, что с той поры я отношусь к таким делам с добродушной улыбкой. Да, это произошло в дальневосточной духоте, и я шагал рядом с пленным китайцем, которому спас жизнь для того, чтобы спасти свою и прикончить своего же подполковника. Забавная ситуация.

Прислушивающийся к нашему разговору Врулов толкнул заряжающего в бок:

— Во дает. Прямо анархист. Как Махно. Делай, что хочешь. Ишь... А что, неплохо.

Я поискал глазами Соколова — он был на другом фланге — и сказал старику:

— Слушайте, вы, мне кажется, не совсем понимаете создавшуюся обстановку. Вас не накормят вареньем, квартиры не дадут, в Москве не пропишут. Вас отправят в лагерь на энное количество времени. Лагеря для вашего брата, китайца, у нас созданы в Средней Азии, там, где днем подымаешь от жары, а ночью от холода. Я не хочу вас пугать, но считаю, что еще хуже кормить вас иллюзиями. Вы поняли?

— Да. Очень хорошо.

— Хорошо поняли?

— Нет, это все очень хорошо.

Я обернулся к Крякину, Мариенко, Врулову:

— Либо он не понимает по-русски, либо он вообще ничего не понимает, либо я сам козел.

Врулов убежденно сказал:

— Это он козел. Они вообще непонятные. Лучше с американцами дело иметь. А тут смотрит, даже нельзя увидеть, смеется он или плачет. Ну их...

Пыль лезла в глотки, сушила лица, солнце все сильнее таращило, гипнотизировало, играло цветами растений, травой, землей, постепенно пробуждало в нас недобрые чувства к своему ближнему, белому или желтому.

— Нечего ждать!

— Мало до части осталось. Выдержат!

— Нечего останавливаться.

Соколов заорал:

— Их еще хлебом корми. А ну! Вперед, сволочь!

Напряжение последних дней давало о себе знать. Да и не хотелось перед приходом в часть раздражать ребят. "А они бы, эти старики и дети, они бы нас пощадили?" Вопрос был глупым, но полезным. Кто знает, когда жесткость превращается в жестокость? "Враги они, враги".

Небо, как земля на гроб, падало, душило. Я искал в себе восторг от удачи. Не находил. Что-то мешало. Старик-китаец слушал и радовался, выражение счастья не сходило с его лица. "Он сумасшедший!"

Подъехал Заварухин.

— Сержант, посади ко мне детей, ну и пару стариков. А? Почему нет? Люди все-таки...

"Все люди. Кругом люди. И дальше что... Война, она всегда между людьми".

— Ладно. Ты, старик, скажи своим. И чтоб без суматохи двигались. Чтоб как на параде. Нашем или вашем. Мы же все одно, коммунизм строим.

Старик осмотрел меня с любопытством, пергаментная кожа лица еще более разгладилась, глаза-щели блеснули смешком. Я не выдержал:

— Чего радуется? Посмотрите на себя и своих — кожа да кости, весь багаж — гнилые тряпки да полкило риса, хорошо еще, что у нас остался НЗ, а то ведь не дошли бы вы до части. Ждет вас, повторяю, не курорт, а лагерь. Лагерь, понимаете. Чего улыбаетесь? Вы, случайно, не того?

Китаец перестал улыбаться. Он замялся, пошевелил руками, будто отстранял от себя ужасное:

— У вас, в советском лагере, кормят три раза в день?

— Да, но как, вот в чем дело. Хуже, чем нас в части. У нас бесхозяйство, а в лагере безхозяйство и сволочи. Там нарочно голодом морят.

Старик меня тихо выслушал и вновь заулыбался. Захотелось ударить его прикладом. "Издевается, что ли? Надо мной?"

Над нами в лагерях? Над собой? Как будто должны же мы друг друга понимать. Понимает же француз итальянца, швед американца. А может, не понимает?"

Это мое размышление прервал китаец. Он споткнулся на ровном месте. Я поддержал его пятидесятикилограммовое тельце.

— Спасибо. Ничего. Не удивляйтесь, что улыбаюсь. Я рад. Все узнается по сравнению...

— Познается.

— Да. У нас в Китае лагеря другие. Домов во многих лагерях вообще не существуют, иногда забывают кормить два, три дня.

— Бараков.

— Да. Работаем, закованные в карьере. Там на месте спим. Умерших утром относим в сторону и перед работой делаем хором, иногда по одному, самокритику. Многие перед смертью лишаются ума. Есть лагеря, где немного лучше, но чуть-чуть. Иногда в лагере лучше, чем на свободе. Много людей в этом году умерло от голода, много умрет. Слезы у народа кончаются, но я не мог ждать, пока совсем не будет. Здесь все принадлежат к моей семье. Скоро в Китае будет большое восстание.

— Когда?

— Скоро, лет через сто, а может быть, только пятьдесят. Моя семья все умерла бы от голода. Мы знали о лагерях в Средней Азии. Кормят три раза в день, кино показывают, где спать дают, в баню водят. Замечательно. Будем жить.

Вдруг до меня дошел смысл сказанного:

— Как. Все эти люди — ваша семья, ваш род?

— Да.

— И вы не захотели ждать восстания? Потому что думали — ваш род не доживет?

— Да.

— И вы знаете, что в наших лагерях ваш род останется в живых?

— Да.

— Черт знает что.

— Да.

Солнце меня ударило в затылок, и я чуть не упал. Голова, мне показалось, стала мягкой, как у новорожденного. Последние трое суток я почти не спал, стремясь не допустить напоследок кривой усмешки судьбы. Она не ударила мне в спину, ну, а солнце, что ж, это чепуха.

Уже давно подошедший Крякин схватил меня.

— Отпусти. Что я тебе, баба?

— Ты же крутишься на месте, как подбитый танк. Нельзя же так, слышишь.

— Слышу. Если б не я, ты половину этих китаезов бы перестрелял, детишкам кишочки наружу бы выпустил. Так что не жалей. Скажи лучше, чтобы все остановились. Перекур. Пусть поплюются. Дай им воды, на самокрутку махорки дай. Если кто пикнет из наших, бей только словами... Ты слышал, что старик сказал? Ты понял, что он рад топтать в нашу тюрьгу, барак для него дворец, лагерная баланда — черная икра.

Кряк ответил:

— Лучше об этом забыть. А то начнешь думать обо всем этом, копать... Можно, в общем, докопаться до неприятностей. Ты сам мне говорил, что нужно направить силу нашего ума на достижение бездумия, иначе, мол, потеряем себя, не сохраним. Ты еще говорил, что мы отличаемся от люлей, живущих в капиталистических странах тем, что им нужно мало времени для того, чтобы чувство стало мыслью и мысль словом, но что им нужно много времени для того, чтобы слово стало действием. А у нас наоборот.

— Я это говорил? Не помню. Что, в доску был?

— Да.

— Перестань говорить "да". Сначала старик бубнил, теперь ты. Вы что, договорились, что ли, все меня с ума свести.

Толпа китайцев села на землю. Старый китаец переходил от одного к другому, вызывая у своих сородичей радость. Заварухин вылез из тягача с канистрой воды. Соколов, Мариенко и Врулов не спускали стволы своих автоматов. Они были злобно-нетерпеливые. Их можно было понять. Да и, кроме того, разве соотечественники этих китайцев не резали наших часовых, могли бы и каждого из нас, разве война не на носу

и из-за нее разве дембель не откладывается, разве они не хотят завоевать нашу территорию?

Кто же виноват, кто же прав, если дурное настроение ребят сходится с исторической необходимостью ненавидеть врага. Люди вообще-то лучше, чем необходимость, но... "Но почему старый китаец не задал еще ни одного вопроса? Сво-лочь!"

— Старик!

Он шел, как ползет умирающий червь. Будто каждое движение предвещает последнюю судорогу, а им все конца нет.

— Вы ничего не хотите спросить? Вообще.

Китаец промолчал, не теряя медленной подвижности глаз, блеснула где-то в углу издевочка — мне захотелось всадить в него очередь, подождать тусклости узких глаз и пойти дальше по жизни с ощущением выполненного долга. Мешали свидетели, парторг и невольное уважение к этому представителю самой древней живой цивилизации. Он спросил:

— Есть ли у вас женщины, которые любят женщин?

— Есть. Только вот недавно встретили. На самой границе живут. Разве не смешно? Мир идет к черту, за такую штуку у нас пять годиков лагерей дают, а они — хоть бы хны.

— А у нас просто лагерь дают. Пока не перевоспитаешься-ся. У нас смерть перевоспитывает хорошо. А религия у вас есть? Ее не уничтожили?

Я закурил, сильно затянулся анашой до головокружения.

Этот желтый человек наверняка мечтает о достижении невозможного. Он захотел любой ценой спасти свой род — который для него является его же неосознанным бессмертием. Пока ему повезло. Но он обречен. Как и другие. Религия. Забытое прошлое держит человека невидимой рукой. Голос неведомых воспоминаний руководит чувствами, подчас поступками. Наверное, религия эта нужна душе, как знамя бойцу. "Но сам Бог, дав человеку свободную волю, остается совестью этой воли". Так в эту минуту, сидя рядом с желтым стариком-врагом, я думал. Быблев меня бы осудил.

"Уничтожить врага, будь он болезнь или человек — не дол-

жно мешать совести". На этот раз осудил бы меня Адирин.

— Есть. Есть, дед. Лучше, чем у вас. В церковь у нас ходят, молятся.

"Чего врешь? Еще немного и начнешь ему доказывать, что в наших лагерях действительно рай земной, кисельные берега. Проклятый старик!"

— Молятся. Лбом пол расшибают, крестятся, а после к тебе в баню раз в неделю, к баланде три раза в день идут рыбий глаз вылавливать. Чего расселся? А ну встать! И вперед, пока я тебя на волю не отпустил. Знаешь, как у нас. Иди куда хочешь — и пуля вдогонку. П-п-пшел! Сволочь!

Колонна тронулась. До части оставалась чепуха с гаком. Стараясь обрести спокойствие, я молча перечислял предпринятые мною меры. Мои люди целы, китайцы тоже. Соколов против меня ничего не может. Рация испорчена так, что саботажа никто не докажет.

Надо было отряхнуть с себя мысли, желания, заглушить внутренние голоса — стать подобием моего автомата. И главное, не искать. Ничего не искать, в том числе сравнения с китайцем, китайцами, Китаем. А не то действительно докажишься до слюняйски-интеллигентского вопроса: кто мы, азиаты Европы или защита Европы от Азии? К черту!

Перегонявший меня Крякин заглянул, издевательски спросил:

— Что, сержант, думаешь?

Я не замахнулся на него ни взглядом, ни рукой, ни оружием.

Часовые, увидев нас издалека, заорали в телефоны тревогу. Весь личный состав караульного помещения бросился на посты, не успев добежать, как были узнаны наш тягач и китайцы. Уже через четверть часа комполка, окруженный тягачами, подкатывал к нам во всем своем величии. Начштаба подполковник Гейвин и начальник политотдела подполковник Вогаев его сопровождали.

— Товарищ полковник, разрешите доложить, сержант Волков...

— Ладно, ладно, Волков, вольно-волью. Скажи лучше, потери есть?

— Никак нет.

— А среди этих гражданских, незаконно перешедших границу?

— Никак нет.

— Молодец. Дай я тебя обниму, сержант. Молодец. За это — лыку тебе.

Гейвин и Вогаев молчали. У них на мордах было написано презрение к старому вояке, слишком много испытавшему и видевшему. Вогаев знал недоброе отношение старика к политотделам — ведь сколько его старых корешей сложило головы по вине комиссаров и других политначальников, по вине глаз и ушей партии в армии. Вогаев понимал, что старик видит в нем все то, против чего боролся всю жизнь вместе с проклятым Жуковым. Гейвин не был в сущности против старика, только он давно высчитал, что старый полковник не может выиграть, что его время прошло, следовательно лучше постараться занять его место, чем помогать ему.

Полковник Лапша, старик, скелет, Сергей Платонович, наконец, не отпуская моих плеч, воскликнул:

— Китайцев в столовую! Накормить. Как следует.

— Товарищ полковник, один из них по-нашему понимает. — В штаб его. Я с ним после поговорю. Молодец, Волков. "Все же слишком радуется старик. В чем дело?"

Полковник торжественно отбыл, пообещав моим людям отпуск.

— Кроме тебя, сержант, хотя ты его больше всех заслужил. Сам знаешь почему.

"Знаю, знаю, потому что хочешь спокойно до пенсии дожить. Ладно".

Мне захотелось тут же очернить Соколова, было легко лишиться отпуска эту канцелярскую крысу. Но любовь к себе пересилила — сделать это значило копаться в грязи вместе с ним. Будет ему отпуск не за то, что предал, а за то, что не сумел предать. Будет Барану перед смертью лишний укол по самолюбию. Не он, а я дам Соколову отпуск, высшую награ-

ду солдату. То, что мое благородство сразу, едва появившись, исчезло, я как-то не заметил.

Вечером китайцев увезли. Я не пошел прощаться с нашеязычным желтым старцем. Незачем. И так все глупо на белом свете.

Казарма показалась теплым и родным домом, койка — нежной понимающей бабой. Пришлось встать, до отбоя было еще далековато, и ходить петухом по территории части, отвечать на вопросы, ловить почтительно-завистливые взгляды. Баран так и не появился. Зорин тоже.

Пошел на кладбище, вошел в эту тихую казарму, поглядел на могилы ребят. Ничего толком не почувствовал. Пустые еще места были ярче могил. Я постарался ощутить окружающий мир, и мне более всего понравился один квадрат земли, над ним сиротел кустик.

Возвращаясь, я обернулся и подумал, будто закричал: "Я не буду там лежать".

Засыпая, с удовольствием вслушиваясь в многоголосый храп, я, сквозь пелену усталости, видел странные явления, небывалые — в заброшенных Богом местах бродили китайцы, мечтающие о концлагерях, женщины, любящие других женщин, парни, искренне считающие предательство естественной ценой за получение ожидаемой радости, люди, наконец, попеременно хотевшие уничтожить и спасти других людей другой расы.

Себя я не видел ни изнутри, ни со стороны, и подсознательно был этому рад. Утром, закуривая в умывальнике, — салаги как раз делали в наступающей жаре зарядку — спросил неожиданно у своего заряжающего:

— Странные ранения были у Крошо, не находишь? Будто стреляли в упор.

Крякин подавился дымом, закашлялся до красноты глаз. "Это не доказательство, — подумал я". Он спросил сдавленным голосом:

— Чего об этом спрашиваешь? И почему у меня? Нет, не заметил. Знаешь, в любом случае, все, что можно сказать о Крошо, это — собаке собачья смерть. Разве не так?

"Он сразу, опомнившись, перешел в наступление, к этому лучшему способу защиты. Но это также не доказательство. Даже не уверенность. Нет ее и не будет. И она никому, в сущности, не нужна. Но отчего же ты, Волков, тогда копался?"

Я был полон смешанных чувств, предрассудков, обычаев. Но мыслью не видел своей вины. Не нарушает справедливости отвечающий хитростью на хитрость, подлостью на подлость. Кто первый задумал гибель другого — тот и виновник. И все же мне, советскому солдату, оказывается, легче убить, скажем, лейтенанта или сержанта собственными руками, чем полковника — чужими. Может быть, в этом сила армии, но никак не моя собственная.

Днем на плацу полк выстроили в каре. Вспомнили погибших, поклялись, как они, защищать землю родную, партию, правительство и прочее. Затем дали некоторым отпуска, многим благодарность, меня произвели в старшие сержанты, дали коленопреклоненным поцеловать "обвеянное заревом многих сражений" полковое знамя. Полковник назвал меня гордостью полка. Старик расчувствовался. Теперь политотделу и даже особому отделу будет трудновато меня скрутить.

Так я думал, идя на поиски сержанта Малумяна. Он был из семьи армянских миллионеров и в армию попал случайно — отец по неизвестной причине отказался заплатить какой-то партийной шишке взятку, и шишка отомстила по-своему, ударила из-за угла. Отец не успел опомниться, как сына забрили. На танцах в клубе Малумяна помяли казахи из минометной роты. Это было с год назад. Они успели сломать ему нос и разорвать щеку. Малумян был богаче всех офицеров вместе взятых — ему посылали в поселок до востребования денег столько, сколько он хотел. Не мудрено, что он мог отбить почти у любого женщину. Он мог все, где не было любви, а для глубокого чувства в армии было мало времени. Любовь избегала жадных отношений между молодыми людьми. Она любит, стерва, быть чистоплотной.

Казах мучился третий или четвертый вечер, а Малумян отбил его девку за пять минут. Казах обиделся. Позвал дру-

зей на помощь. Что же может быть более нормального, но Крякин с его таежным воспитанием не мог с детства терпеть сам вид избияния многими одного. И мне поневоле пришлось ему помочь. Так я познакомился с Малумяном, сразу спросившим:

— Денег вам надо?

Кряк ему ответил:

— Еще в морду хошь?

Так мы подружились с Малумяном. После меня заинтересовали две подробности. Трех из пяти избивавших Малумяна казахов нашли зарезанными. Каждый раз у Малумяна было железное алиби. На вторую подробность я не сразу обратил внимание — Малумян поклялся "сработать" младшую дочь Барана Елену. Дочь парторга была как будто склонна поцеловать полурасплющенный нос Малумяна, но отец вошел в офицерский гнев, охладил пыл сержанта двухнедельным пребыванием в одиночке, затем приказал ему не подходить к дочери на пушечный выстрел. Но молодые люди все равно тайно встречались в деревне в доме подкупленного Малумяном агронома.

Я не сразу сумел объединить в одно эти две подробности. То, что Малумян сумел найти наемных убийц, было забавным, теперь стало более, чем интересным.

Все знали, что под солдатским одеялом богатого сержанта прячется изысканное сукно, что его наволочка достойна Брежнева, а дембельские сапоги сделаны по заказу в Москве. Малумян лежал на койке, раскинув ноги. Многие лейтенанты, входя в казарму, прятали глаза, не видели вопиющего нарушения устава. Должникам так и положено.

— Выйдешь через десять минут. Встретимся у брусьев за большим деревом.

Вокруг самого старого дерева части росли деревца, кусты, трава, в общем, дети-упыри доживающего свой век толстокожего дуба. Надо же из кого-то соки сосать. Сам комполка разрешил вольной жизни остаться в этом месте и называл его беседкой. Туда люди шли мечтать или вспоминать.

— Ну чего?

Зная, что мы одни, я все же огляделся.

— Дело худо.

— Ну.

Сколько я знал Малумяна, он всегда вел себя так, как будто в нашей стране деньги сильнее власти. Когда-нибудь он заплатит за свою ошибку.

— Не нукай, а слушай. Мы с тобой друзья, иначе... Ладно. Я теперь герой, персона грата. Парторг и другие — локти кусают. Ты же знаешь обо всех этих делах. Баран, узнав, что бессилён меня кончить или сгноить, пришел в дикое бешенство.

Армянин жадно спросил:

— Значит, у ты скоро дембель? Когда?

— Не знаю. Может, меня даже досрочно дембельнут. Но не в этом дело. У меня был разговор с Бараном, ну и я открыто над ним поиздевался...

— Я думаю. Эх, мне бы...

— Но он сказал, что если меня он не сможет затравить, то ты из его рук не ускользнешь. Он знает про твои шашни с его дочерью. Она даже как будто забрюхатела.

Малумян не потерял спокойствия:

— Черт с ними. Она мне не нужна больше.

— Возможно, но наш милый парторг поклялся отомстить, он как будто собирается завести на тебя дело и уговорить особый отдел взять тебя на карандаш. Он мне сказал: "Этот армяшка, этот засранный гомик меня попомнит".

Тут лицо Малумяна покрылось задумчивостью, затем исказилось.

— Жидюга.

Только тут я вспомнил, что Баран еврей. Что ж, возможно, что для Малумяна это и имело значение. Тем лучше. Я положил армянину руку на плечо:

— Я счел нужным тебя предупредить. Только учти: у тебя мало времени. Сделай так, чтоб тебя перевели в другую часть. Ты ж против парторга ничего не можешь, он тебя раздавит, как клопа. Будь благоразумным. "Клюнь! клюнь! ну? ну?"

Внезапно Малумян меня обнял:

— Ты — друг. Настоящий. Проси что хочешь.

— Дембельнись.

Он улыбнулся, и я понял, что парторг все равно, что уже холодный.

— Не беспокойся.

6.

Неделя прошла спркойно. Я старался как можно чаще попадать в караул. Там было проще. Разводил ребят по постам, их же брал через два часа, радостных, благодарных и вел в караульное помещение к топчану, к покою. Сам играл до одурения в шашки, шахматы. Набивал череп анашой, никак не мог до конца. Ночью выходил один во двор, подставляя лицо луне.

Когда-то я смеялся над Раскольниковым, его муками. Все или не все дозволено человеку. Достоевщина выводила меня в космос и я насмешливо становился над ней. Все дозволено без мук и сомнений! Оказалось, что я был ниже земли. Раскольников убил процентницу, уродливую старуху-паука. А почему не дородного, изящного действительного статского советника? Иерархия в нас сильнее анархии, вот отвратительная истина.

Я был себе противен. Ко всему прибавилась грусть, когда пришел прощаться Крякин.

— Вот. Еду. Сначала, не смейся, в Биробиджан. Я там жёнсь на Лиде, думаю, что она меня все-таки любит.

— Решился.

Он замаялся, застеснялся. Открытое его лицо глядело на меня с дружеским сожалением. "Господи, и я мог подумать, что такой человек убил расчетливо другого".

— Да, знаешь, после всего, что произошло. Знаешь, когда даешь смерть и видишь свою собственную.... Я, может, красиво говорю, но это так.

Мне было грустно. "Все себя в других ищешь".

Я хлопнул сильно своего заряжающего по плечу, но не обнял:

— Правильно говоришь. Ну, а дальше что будешь делать?

— Поеду с Лидой к отцу в лес. Хорошо там. Соскучился. У него там кабаньих окорок нас ждет. Окорок выдерживается в рассоле вместе с гадючим луком, полынью, донником, смородиным листом. Его коптят в дыму ольховых веток и дубового листа, затем валят на солнце. Эх, здорово. Будем на охоту ходить. Тишина. Настоящая. Может, Лида захочет у отца остаться, меня там ждать.

Я глядел Кряку вслед с удивившей меня нежностью. Он шел к радостному неведомому, будто навсегда. Я ему не напомнил, что он должен быть в части через две недели, что может быть война с китайцами, с американцами, что Лида могла за это время его разлюбить. Он был рад, и для меня это было светлым пятном на черном фоне моего существования.

Наконец, пришла весть о моем окороке. Узнав подробности, невольно скривился. Голова свесилась. Нужно ли было это? Зрелость не наделяет нас мудростью. Остается неразумие проступков, случайность решений, жестокая слабость.

Да, армянин не шутил. Он жестоко отомстил парторгу за произнесенные им слова. Из глотки мертвеца торчал кляп, из зада — тонкий лом. Он помучился прежде, чем его зарезали, как овцу. Весть меня застала в оружейке, когда, после суточного отдыха, я брал автомат, чтоб идти на развод. Я поглядел дольше, чем обычно, на автомат. Меня кто-то толкнул. Я кого-то толкнул. Все. Парторг откатился в прошлое. Как другие. Или остался во мне, как другие?

Ночью в караульное помещение шмыгнула весть, что наша танковая колонна вторглась в Китай. Война. Я даже обрадовался. Теперь китайцы не смогут смолчать. От неправильного убийства можно очиститься только правильным. Кроме того, я начинал терять веру в себя.

Штаб молчал. Ни шороха, ни тревоги. Через сутки стало известно, что танки, пехота и две ракетные батареи, пройдя более ста пятидесяти километров по вражеской территории, вернулись обратно, так и не сделав ни одного выстрела. Говорили, что работающие на полях желтые крестьяне делали

вид, что не громыхают мимо них враги. Пекин закрыл глаза. А я все ждал, пока не пришли слухи о чистке в штабе округа. Правда? Неправда? Нам не нужно было задавать себе вопросов. Мне тоже. Могли ли наши генералы своей волей попытаться развязать войну? Не все ли равно, важно, что мне про-должает улыбаться удача. Но она мне стоит все дороже, и она весит все больше и больше.

Майор Зорин пришел в казарму после обеда. Я как раз досасывал содержимое банки сгущенного молока. Мы вышли прогуляться.

Николай Петрович был хмур. Он пожевал по-старушечьи губами:

— Да-с. Не будет, значит, войны.

— Они слишком слабы, Николай Петрович. Но скажите, почему комполка так радовался, что взяли китайцев живыми?

— Не догадываетесь? Тут замешана большущая политика. Вредная.

— Что? Не может быть, чтобы...

— Может. Они начали тайные переговоры. На высшем уровне. Это все и объясняет.

— Значит, китайцы...?

— Будут, наверное, выданы.

"Черт с ними. Я же говорил, что они обречены, но не хотел сам себе до конца верить".

Майор скосил на меня глаза, набитые грустной издевкой:

— А вот для вас все хорошо развивается. Скоро демобилизуетесь. Уедете к себе. Удачно, не правда ли, что нас покинул товарищ парторг? Его нашли в неприглядном виде в канаве. Его жена, вернее, вдова, теперь в госпитале — сердце не выдержало зрелища. Дочери плачут. А вам повезло. Китайцы живы, парторг умер и не будет пока войны.

Я промолчал. "Эх, хорошо летать во сне".



А. ТУЧКОВ

ЛЕОПОЛЬД

ЭПИЛОГ

Дело было на Лиговке. В месте неприглядном и заброшенном, ощерившемся заборами, путь к которому шел многочисленными проходными дворами. Он решил, что так будет короче. Он хотел сократить путь.

Дело было на Лиговке. Глухим вечерним часом. Подворотенная компания, с гитарой, встала на его пути. Спросили закурить. Он ответил, что не курит. Он и в самом деле не курил, но дорогу, посмеиваясь, загородили снова, когда он пытался обойти их. Он даже не успел сообразить ситуации, как его ударили. Это было настолько неожиданно, что он упал спиной в чьи-то объятия с запоздалой мыслью: "Сейчас попросят денег..." Но денег не спросили, а просто били, молча, дыша перегаром, не давая опомниться. После чего молнией резанула острая боль и он повалился на землю.

Все произошло так быстро, что не было еще ни страха, ни законного, но столь же нелепого в таких случаях вопроса: "За что?"

Но было в высшей степени странное ощущение. Потому что видел он все происходящее как бы сверху и сбоку. Как посторонний взглядывал на всю эту возню.

Ему хорошо было видно, как те, что били его, сгрудились над его телом. Он услышал воцарившееся на задворках молчание. Чиркнули спичкой. Осветивший его лицо остался доволен осмотром: "Чистая работа, Валюха. Гони кастет обратно, твой долг погашен. Но в другой раз не садись за карты, коли денег нету. А то проиграешь кого посolidнее. Хорошо — не самбист, а такой вот сморкач вышел по проходным. Глянь-ка на него — рожа сероватая, грудь впалая, ни уха, ни рыла. И в кармане только пятак на метро". И добавил: "Не задерживайся, ребята, влейте-ка ему водки в рот, чтобы было происшествие по причине алкоголя..."

Тело его подняли и швырнули в угол. Туда. В чернильную мглу провала, с еле угадывающейся сумятицей рухляди...

Была ночь и луна. Еще звучали вразной шага удаляющихся, еще весело подпрыгивала убегающая консервная банка. Ворочался потревоженный хлам. Но вот тишина. Настала необычная тишина.

Он хотел крикнуть им вдогонку что-то, может, спросить о помощи? Но тело его и язык не повиновались ему. Было неприятнейшее состояние полуобморочности и невесомости. Как бы в тихом волнении черного приборя качался он.

Он думал, а вернее, пытался думать о том, что сейчас надо отлежаться, а потом попробовать выползти отсюда. Или крикнуть о помощи. Делать что-нибудь, действовать, черт возьми. Место было глухое. Разве что дворники найдут его здесь случайно, через пару дней. Однако что-то мешало ему сосредоточиться. Отчасти это была непонятная апатия. Но кроме того, еще нечто, сути чего он не мог определить. Что-то неясное, неподвластно-неясное, ускользающее. Нечто неосознаваемое, то приближающееся, то удаляющееся. Присутствующее, бродающее вокруг...

"Что за беспросветная тишина, как в чулане? Тишина, от которой можно оглохнуть", — спрашивал себя лежащий. Невеселые мысли осаждали его, с самого утра одолевали, какие-

то особо настойчивые сегодня. Мрачные раздумья. Но, впрочем, и не особо удручающие. Так. Привычные мысли о невзрачности его жизни и жизни вообще, кругом. Мечты остались мечтами, а жизнь жизнью. И не то чтобы жизнь была чрезмерно сурова или несправедлива к нему, она просто обходила его стороной. Так, что многие, бывшие донельзя завлекательными, мечты, умерли сами собой, так сказать, естественной смертью...

Он лежал, как предмет. Неподвижный среди замерших ящиков, труб, мусора. Невидимый в своей неподвижности, лежал. Прошла кошка. И даже не кошка, но тень ее. Не касаясь земли, прошла. Перебралась через тело, не замечая его...

И вдруг он понял это, что мешало ему сосредоточиться. Как вздрогнул, понял. То было слово. Бесмысленное, ненужное слово. Имя. Слово — "Леопольд". Это, без сомнения, было оно, маячившее внутри, но вот обозначившееся ясно. Возникшее тогда, с последним ударом. Вбитое кастетом.

"Что за бред? — думал он. — Что за Леопольд? И имя-то какое-то не русское. Иностранное имя. Мое имя не Леопольд и среди знакомых Леопольдов не имеется. И вообще, не безумие ли это, в то время, когда надо срочно что-то предпринимать, думать о разной чепухе. Нет, видать, я рехнулся. Негодяи сильно били меня по голове".

Шло время. Полночь воцарилась кругом. Луна и полночь. На троне тишины восседал циклоп ночи. Не мигающей, базедовой луной страдая, сидел циклоп в сомнамбуле. И руины теней и света вокруг него. Непроглядно черных теней и прожекторно белого света...

Шло время, и имя Леопольд уже входило в силу. Жило само по себе. Было более, чем самостоятельно, буквально распоясалось. Обнаглело. Шебаршилось в мусоре. Приставало к лежащему, мучало его. Между ними уже возникали отношения. "Оставь меня в покое, не будь сволочью", — шептал он ему укориленно. Но имя продолжало безобразничать. Насвистывало мотивчики, разговаривало с лежащим, сердилось, если он не отвечал. Бесцеремонное. Вело себя, как последний эгоист...

ЛЕСТНИЦА ИАКОВА

Внезапно яркий свет фонаря ослепил его. И вслед за этим жидкий тенор осведомился язвительно: "Который здесь Леопольд?"

Другой, осипший голос, отвечал недовольно: "А вона лежит. Неужто не видите? Промеж труб и ящиков". Но тотчас же был учтиво осажен тенором: "Потрудитесь молчать, пока вас не спрашивают, анальная вы кишка. Позвольте вам напомнить, что я старший по званию, вы в подчинении у меня".

Пока осипший гневно бормотал про себя что-то о куске дерьма, которое лучше не трогать, лежащий с тоской подумал о том, что бывшие его возвратились. "Докончить пришли, замести следы, — досадовал он печально. — Конечно же, я был в беспамятстве. Я бредил и кричал в этой тихой ночи, в которой достаточно и шепота на несколько кварталов. Я кричал в бреду, они услышали и вернулись".

Между тем, владельцы голосов вступили в полосу лунного света и лежащий вздрогнул. И с облегчением и в крайнем удивлении. Потому что это были не те. Но это были и в высшей степени странные не те. В совершенно невозможных одеяниях и с омерзительными рожами.

Один из них, чей был тенор, одет был в великолепную мягкую шляпу, дипломатского достоинства, с нежнейшего цвета сиреневой лентой. Шляпа покрывала голову — пузырь, наполненный разнообразнейшими цветами апоплексического смысла. Щеки тенора ниспадали на ворот крахмальной рубашки, с галстуком, переливающимся изумрудом. Дородные плечи покрывал дорогой, серебристого цвета пиджак, с угольным белейшего платка в кармане и с гвоздикой в петлице...

На этом, собственно, и заканчивался наряд тенора, если не считать стоптанных домашних туфель.

Подчиненный же его, все еще недовольно бормочущий что-то, был грязнейшим парнем, замотанным в лохмотья и увешанным вокруг всего тела массой вещей. Малейшее движение парня сопровождалось звоном и дребезжанием самых различных тональностей. Чего тут только не было на нем: и от-

вертки, и фонари, ложки, телефон, гайки, болты, велосипедные цепи, чайник... Всего не перечислишь...

Приблизившись, двое некоторое время разглядывали лежащего, после чего грязный парень, побрякивая своим хозяйством, величаво выступил вперед и, откашлявшись, обратился к нему: "Итак, товарищ критик, лауреат бесчисленных премий и автор многочисленных трудов, перед тем, как вы станете членом нашего дружного коллектива, мы подведем с вами итоги вашей плодотворной деятельности, на которую вам было отпущено восемьдесят четыре года жизни, способности выше средних, здоровье нормальное".

Произнесши эти слова, сиплый парень вытащил из груди вещи тяжелый хлыст и страшно щелкнул кнутовищем, усеянным шипами, проверяя его готовность:

"Начнем, пожалуй, с вашей последней фундаментальной работы, озаглавленной: "Влияние творчества Е. Б. Никишина на западную литературу", где вы проследживаете творческий путь поэта Никишина /Н. — псевдоним, настоящая фамилия Зайцман/, как прямого наследника гуманистических традиций Пушкина и Лермонтова. Далее, — скрипнул зубами грязный парень, — далее, раскрывая светлый образ Е. Б. и характеризуя его как беззаветно преданного, отдавшего всю жизнь, твердо стоящего на позициях, кандидата на соискание, а также как поборника и пламенного борца, вы пишите: "Его поэзия, полная задушевной лирики и высокой гражданственности, является событием огромной важности не только в литературной жизни нашего общества, но также..."

"Постойте, постойте, — прервал его разглагольствования тот, что в дипломатской шляпе и без штанов, — что за чушь вы мелете?"

Он подошел к грязному парню и, брезгливо поколотившись в его вещах, выволок ролик туалетной бумаги. "Я покажу вам сейчас — это событие огромной важности", — раздраженно бормотал тенор, разворачивая ролик на манер телеграфной ленты. При этом он сосредоточенно вглядывался в бумагу, на которой ровно ничего не было.

"Ага, — торжествующе возвестил он. — Нашел. Пожалуй-

ста — год рождения, средняя школа, техникум. Особых примет не имеется. Так, так, а вот и оно, — хлопнул он рукой по туалетной бумаге. — Убит пьяными хулиганами по возвращении с места работы. А вы — критик, лауреат. Это совсем другой гражданин. Никакой не лауреат. Совсем обычный человечешко. Полное ничтожество. Сегодняшний Акакий Акакиевич, только что без шинели. Просто руки падают, работать неохота. А тут и вы еще”.

И сплюнул в сердцах: "Одно недоразумение дежурить с вами. Я буду жаловаться. Вечно вы все путаете, фаллопиева вы трубка”.

Покончивши с вопросом выяснения личности, тенор потребовал револьвер, заявив, что за отсутствием состава преступления /лауреатство, авторство/ пытки отменяются и заменяются расстрелом. Он приказал окончательно стусевавшемуся от позора сиплону парню зарядить револьвер, подать его и светить фонарем в лежащего.

Среди ночи на пустыре раздалась деловитые команды, отдаваемые суетившемуся парню: "Левее, левее светите, мой ароматный друг. Чуть ниже, душистая орхидея — королева яванской ночи. Клянусь алебастровой белизной вашей кожи, а также неземным звучанием вашего голоса — попаду сейчас в цель. Цель. Наводка. Огонь”.

Гремели выстрелы. Вскидывалось в конвульсиях тело лежащего...

Таким образом двое весельчаков развлекались еще некоторое время, сдабривая приятное времяпрепровождение дружеской беседой: "Что же это вы, — не без злорадства спрашивал воспрявший духом грязный парень, когда тенор мазал. — Что же это вы бьете в прямую мышцу живота, когда я свечу вам в квадратный разгибатель голени? Вы же старший по званию, а, значит, должны быть образцом для меня, примером, шанкр вы твердый”.

"Это не моя вина, — степенно отвечал тенор, — это вы неправильно светите мне. Разве я могу попасть в квадратный разгибатель голени, когда вы светите то в переднюю зубчатую мышцу, а то в подвздошно-поясничную мышцу. У вас,

уважаемый, дрожат руки. Вам ни в коем случае не следует держать руки под одеялом. Да и есть ли у вас одеяло? Знаете ли вы, что такое одеяло? Одеяло, чтобы вам было известно, сушенный вы птеродактиль, это одна из основных частей постельных принадлежностей, основное назначение которой заключается в поддержке и сбалансировании нужной температуры тела, находящегося в состоянии сна, т. е. в состоянии замедленной жизнедеятельности. Рекомендуются, мой друг, держать голову во время сна вне одеяла. Во-первых — для притока свежего воздуха в легкие, во-вторых — для поддержания головы в более прохладной температуре, чем тело... Впрочем, все вышесказанное вас не касается, потому что вы держали бы голову именно под одеялом. Понятие свежего воздуха для вас чуждое понятие и...”

"Развлекаетесь?" — как раскат грома раздалось позади.

У двоих даже коленки ослабли от внезапности. Грязный парень затрясся всеми своими вещами в ритме песен народов Африки, а тенор неожиданно громко пукнул...

"Будь здоров, негодяй", — ответил ему тот же бас.

В проеме обвалившейся стены, там, где свисала винтовая лестница, обозначился некто на фоне лунного света, высокий, в длинном плаще с капюшоном. Лица его не было видно, но угадывалось, что стоит он, скрестив руки на груди.

Приятели, тем временем, чуть оправились от испуга. Грязный парень лишь слегка подрагивал вещами, а тенор, не желая ударить в грязь лицом, попытался изобразить реверанс отекшими ногами. "Никак за Леопольдом изволили явиться?.." — начал было он, но тот, силуэтный, не ответил, а только движение сделал. И тотчас двое со стремительностью крыс сиганули в сторону и забились в тень под лестницей. При этом тенор успел пнуть ногой лежащего...

Высокий, в плаще, подошел к тому, которого успел пнуть ногой удиравший тенор, и долго вглядывался в его лицо. После чего повелительно предложил ему встать. Лежащий подумал было о том, что ему не встать, что это просто невозможно. Однако встал и даже забыл удивиться тому, что не ощутил боли. Высокий помогал ему. Шаг за шагом, вместе,

они вышли в пролом стены, туда, куда уже подбиралась луна, к лестнице...

Окутанная текущими волокнами лунных туманов, свисала со стены лестница. Витая, с поржавевшей вычурностью деталей. Из клана благородных вещей, лестница. Благородство истертости было присуще ей. Из того сорта истертости, каким прекрасна, например, отшлифованная рукоять долго используемого инструмента, либо истертых поручней. Лестница была красива, как лицо старого человека. По материалу своему прекрасна, как руки, шея старика, как пергаментность просвечивающей кожи или блеклая драгоценность глаз...

Вот они взошли на первые ступени лестницы, и она струнно запела. Они положили руки на перила ее. И в этот момент выдвинулась из-за стены луна. Сфера луны, налитая нестерпимо белым светом... И перила засияли. Перила, отшлифованные в течение тысячелетий руками каждодневно идущих до неистового совершенства, до стремительности, ослепительной стремительности внезапной струи серебра.

Это было невероятно трудно, подниматься по ступеням. Все его тело исполнилось свинцовой тяжести и желанием, непреодолимо упорным желанием, сойти обратно, вниз, или сесть и не двигаться. Однако проводник в плаще подбадривал, а иногда и просто подталкивая, помогал ему взбираться вверх.

А тут еще двое негодяев, затаившихся внизу, под лестницей. Они кривлялись, хохотали, издавали гнусные звуки и хватали его за ноги. Тенор, к примеру, до того обнаглел, что пытался даже прижать ступни идущих сигаретой. Но высокий, в капюшоне, изловчился и прищемил им пальцы. Раздались визг, вопли и двое, выскочив из-под лестницы, рассыпались искрами во тьме...

Между тем, и он явственно ощутил это, с каждой следующей ступенью восхождение становилось легче. Поднимаясь по лестнице, они постепенно освобождались от тяжести брандауэров, труб, антенн. Осыпалась короста крыш, и простран-

ство темно-синей ночи, насыщенной лунным светом, обступало их. Пространство, полное первозданного света, того, который Он сотворил, сказавши: "Да будет..." и стал. Белейший, молочный. Просто свет. Еще не протканый желтизной солнца. Как мел побледневших щек, без источника света — свет...

Вскоре мешанина крыш была уже далеко внизу. И сбоку лишь стена циклопической кладки. Он подумал о том, что стена крайне древняя, полуистертые барельефы и буквы говорили об этом. Письмена и барельефы, которые, как он вспомнил внезапно, видел еще не тронутыми временем. Когда-то очень давно, бесконечно давно. Много раньше того времени, когда, к примеру, прапрадед его сидел где-либо в городском саду, одетый в белый костюм и канотье, с соломинкой в зубах, сидел молодой, девятнадцатилетний, рассеянно слушал военный оркестр в ротонде, рассеянно оглядывал дам под зонтиками и думал о том, что вся жизнь еще впереди...

Гораздо раньше того времени видел он эту стену. Когда? Неизвестно. Но даже раньше совсем непонятно откуда взявшегося воспоминания о такой же старой стене, поросшей золотом трав, на фоне безмятежно выцветшего неба, стене, под которой пасется развьюченный мул. Два еврея под стеной мирно беседуют. Два жилистых старика с лицами грифонов. Зной, тишина, степенная беседа, и порхающее надо всем этим слово, имя — Вефиль...

Но вот восклицание, другое, голоса повышаются. Евреи сердятся, перебивают друг друга. Вот они уже кричат, стучат посохами, топают ногами. Два старика, окаменевших в своих убеждениях, различных убеждениях. Спор переходит в ненависть, в невозможность уступить.

Они не замечают того, как темнеет небо, как медно мерцает золото трав от внезапно павшего ветра. Они не видят, как черная туча, волоча подол, простирается над стеной, и грома не слышат. Отдаленного грома, подобного грохоту ассирийских боевых колесниц...

Нет, они продолжают визжать друг на друга, стараясь перекричать гром. Внезапная молния раскалывает тучу... Все

потрясено кругом, и старики смолкают на секунду... Но вот снова и снова, забыв о приближающейся буре, неистово спорят старые евреи...

Но где же конец этих воспоминаний? Воспоминаний о старой стене. Пожалуй, что в тех отдаленно-библейских временах, полных гудящих пространств, с гулом то ли первых геологических катаклизмов, то ли бегущих мамонтовых стад. В тех временах, когда Адам и Ева были низвергнуты из рая.

Что были они — Адам и Ева? Принято думать, что они сошли в буйно-зеленый перепончатокрылый мир, в мир громадных тел с маленькими головками, в мир смачного чавканья и беспощадного пожирания друг друга...

А не было ли так? Студентами на практике, дачниками, командировочными, прибыли они на землю. Все трудности впереди. Они могли знать об этом, могли не знать, это не важно. Это потом. А пока — гуляющие по окрестностям, все-ильные и веселые, пока. С интересом озирающиеся, подобные туристам-американцам в России. И не ведающие того, что они видят вокруг — их будущее...

Но как же изменилось все кругом с тех пор. Величавое и нелепое зрелище предстало перед ним. Настолько ошеломляющее, что он не заметил, как винтовая лестница перешла просто в ступени, ступени, в свою очередь, в тропу, видоизменяясь то тротуарами, то мостами, взбираясь вверх, сбегая вниз, петляя, иногда еле заметным путем, известным лишь уверенно идущему молчаливому проводнику.

От горизонта до горизонта, на необозримом пространстве, громоздилось некое месиво из руин, стен, обелисков, совершенно непонятого назначения конструкций, лачуг и бесчисленных по размерам и назначению предметов. Образуя скалы, горы и пропасти, все это висело и лепилось друг на друга чудовищными наростами. Опухолью слоновой болезни росло друг на друге.

Если путь двоих шел через мост, то и здесь эта переливающаяся всеми цветами радуги масса низвергалась в бездон-

ные пропасти, роилась там, копошилась светящейся туманностью, доносилась неясным гулом из бездны...

И спектрально сияющие зарницы, вспыхивающие то тут, то там. Иногда эти зарницы обращались в светящиеся потоки, проистекающие между нагромождениями или скатывающиеся в пропасти...

Как раз в тот момент, когда двое проходили мимо руин очередного здания, вспыхнуло такое облако. И в свете его судорожного, пульсирующего сияния они увидели, что облако состоит из мириадов неясных существ, поминутно взлетающих и парящих. Вспыхнувши, облако обрушилось вниз, влево, преследуя некую группу людей, которые спасались бегством от него, там, в радужном свете небольшой лощины...

"Что это кругом?" — очнувшись, спросил он.

"Равнина молчания", — последовал краткий ответ.

"Но позвольте, во-первых, это не равнина, а во-вторых, не молчания. Я слышу звуки, бесконечно далекие, смутные, но слышу. Многие из этих звуков почти что слагаются в некую модернистскую, дьявольскую музыку, в симфонию..."

"И все-таки это равнина, брат. Потому что задолго до вас была равниной. И где-то здесь, погребенный подо всем этим, был сад, тот самый, что назывался эдемским. А равнина молчания потому, что все, кого нам приходится проводить здесь, смолкают от, как им кажется, красоты и величия этих нагромождений".

"Но это действительно красиво", — продолжал упорствовать он, — самый из самых разнузданных концептуалистов не посмел бы даже мечтать о такой исполинской феерии".

"Да, до неузнаваемости загадили пространство", — неопределенно ответил проводник и более уже не промолвил ни слова. Они молча продолжали свой путь в этом хаосе, шагая тайными тропами, известными лишь впереди идущему.

Уже давно исчезла и забылась тяжесть первых шагов, по первым ступеням. Теперь это была даже не ходьба, но нечто вроде скольжения, с иногда возникающим перебиранием ногами в воздухе и с безумным желанием парения и длинных, сплавным приземлением, прыжков.

Суровый проводник, между тем, все также шел вперед, молча и не оборачиваясь. А так хотелось заговорить с ним, выразить, так сказать, свое восхищение и признательность. За что? Он не мог сформулировать этого точно и в глубине души понимал, что для идущего впереди достаточно благодарного волнения в сердце...

Однако он все-таки попытался говорить, подбирая слова, стараясь быть правдивым. Он, конечно же, не умеет описать чувств, охвативших его, но попробует. Это нечто вроде чувства величайшего облегчения, какого не было никогда. С чем сравнить его? Нет, он не находит сравнений... Разве, как после буйства моря и борьбы с ним, после изнеможания и мыслей: "Вот, вот последняя минута...". И после всего этого — розовая отмель, на которую медленно вползает плоская волна. Несмелым псом, лижущим руки, вползает. И знойная тишина, с шумом моря через занавес тишины. Грозно далекий эхом — шум моря. И единая травинка или цветок, касающийся щеки спасшегося. Лежащего в сладком изнеможении спасшегося... А тут еще суровый ландшафт Лиговки и Обводного канала со сталактитами кварталов, так чудесно преобразившийся...

"Избегай слов, брат, — внезапно рассердился проводник. — Достаточно чувств для этого мира. Они как слова, но неизмеримо чище. Береги свою ауру, не загрязняй ее ложью. Долго придется вам избавляться от лжи, порождаемой словами и образами. Ложью вы сотканы в том призрачном мире, что зовете реальным. Последите за собой, кто бы вы ни были, ложь, как кровеносная система, пронизывает вас. Нельзя пальца уколоть, чтобы не проступила капелька крови-лжи. Говорите ли, лицемерите. Хотите сказать правду, повинуетесь страстям и говорите предвзято, а, значит, снова лжете. Думаете ли и опять по двойному, ложью расщепляемы..."

А что касается Лиговки и Обводного канала, забудь эти ничего не означающие названия. Этого всего уже давно нет, с тех пор, как ты встал на первую ступень лестницы.

То же, что ты видишь кругом, то, что наполняет тебя удивлением и восхищением — опять ложь. Ваша ложь. Пото-

му что все эти нагромождения — образы, рожденные вами. Мертворожденные. Месиво из вашего тщеславия, мечтаний, гордыни, фантазий, тайных желаний... Видишь ли ты тех, бегущих там, в пурпурной долине, преследуемых радужным облаком? Долго им еще бежать. Тысячелетия еще будут бежать, преследуемые и терзаемые образами, как гарпиями, пока энергия образов не иссякнет...

Все это следствия блуда, на который потрачена божественного происхождения сила. Та, что дана вам была для просветления, а не для услаждения, онаново вы племя. Не многие из вас поняли это и те лишь под конец жизни, как некто именем Микельанджело, сказавший, что все шедевры, которые он сделал, и все, что в состоянии сделать еще, не стоят единой молитвы святого ..."

Они миновали залы со стенами, обратившимися в скалы. Перебрались через стол с окаменевшими яствами и цветами, и проводник распахнул внезапно маленькую боковую дверь. И тотчас на них дохнуло глубокими пространствами широкой долины, полной тишины. Сколько хватало глаз, простиралась долина перед ними. И в пустоте ее, в глубине ландшафта, возвышался шатер театра. Далекий, громадный, он был растянут на руинах античного храма. Необычайная прозрачность воздуха позволяла увидеть все, от сохранившихся капителей и фресок, до малейших сколов и трещин на остатках исполинского размера колоннады. Широкие истертые ступени вели под купол. И вереницы крошечных фигур, воздушно спешащих к ступеням, проистекающие по ступеням под сень шатра...

"Тебе туда", — указал ему провожатый и зашагал прочь.

Уже грянула полночь, и как бы увертюру ощутил он ее, к начинающемуся представлению увертюру. Серая, темно-графитовая с синевой, грянула полночь. С луной не видимой, но угадывающейся. С ушедшей луной. И исполинский шатер в долине теней.

Перспективы уже стали съедать фигуру уходящего, бывшего провожатого. И в неверном освещении ночи, плащ его

прочитался крыльями. Двумя крыльями. Гремящие, круто изогнутые, мощные, в блестящих лезвиях перьев. Тяжко колеблющиеся, они напоминали оружие и панцыри древних латинян...

Достоинством вооружения были исполнены крылья ангела...

Однако надо было спешить. Он опаздывал, чувствовал, что опаздывает, и потому спешил к ступеням, ведущим в широкий проем входа... Как вдруг увидел их, неясных сестер, с неуловимым выражением мерцающих глаз. Они торопились на представление, и их наклонный бег был бегом теней. Скольжением. Кажется, было даже не касание ступнями земли.

Выражение бледности уловил он на их лицах и удивился очередному трюку. Черт возьми, ведь то, что скачет теперь на сцене, то, что все принимают за них, не они. Но вот сейчас они войдут, и пораженные зрители, в который раз пораженные, увидят, как те, ныне скачущие, трансформируются во что-либо... Либо в театральные реквизиты, либо в разлетающихся птиц, либо просто исчезнут...

И он заторопился за ними, вслед этому цветному и пурпурному воздуху, потому что овации уже вознесли их на сцену...

Никто не знал, что они, откуда. Были, которые знали, но и те не знали, а разве что догадывались. Смутно вспоминали. Как бы головокружение, воспоминание было.

В остальном же они были три сестры. А может и четыре. Иные утверждали, что пять. Разнотолки эти происходили из-за их совершенной схожести друг с другом. Они давали концерты. И на сцене они работали вместе. Сбегались и разбегались, и их было то три, то пять, а то и более...

Будто бы тени мелькали они. Тени от одной из них.

Однако даже не это было замечательно в их представлениях, но то, что спектакли были феериями. С неизвестно откуда льющейся музыкой. Либо с молчанием и с запахом тропических цветов. Или с рыжими сумерками вечера и с далеким шумом водопада...

Никто и никогда не знал, как начнется их следующее

представление. Или это будет явление на пустой сцене. Внезапное. Без выхода из-за занавеса в кипение оваций, но просто возникновение на сцене. Или это будет выход из среды зрителей. Либо как было теперь...

Потому что все были и зрители и актеры. Потому что все были вместе. И все, что мучало, выяснилось, и все недоразумения были улажены. Каждый знал о себе и о своем грехе. Возникла беседа. Обычная, обычно прекрасная. Ночные бабочки плясали над пламенем светильников. Исчезло понятие времени. Звенела утварь. Шла вечеря. Но уже не последняя и не тайная. И не было того аромата печали, что реял тогда. И не было Иуды...

Еще долго продолжалась беседа, музыка и веселье. Долго они еще бродили по залам музея, удивительного музея. Музея воспоминаний. По анфиладам зала бродили.

Но вот, гулкий шорох расползся по закоулкам театра — ударил гонг, и флейта запела:

"Среди лент и венков.

В непрестанном весельи, среди.

Вдруг. За окном, среди листьев,

мелькнул прострел. Далеко-холодный, холодно-свинцовый.

Прострел моря и триера бегущая.

И все поняли — триера спешит в порт.

Укрыться от осенних бурь спешит.

И все поняли — подошла зима,

незаметная среди веселья, подошла".

ГЛАВА 1.

Очнулся он от ощущения необычайного мира и покоя. И даже не ощущение было, но как бы медленное выплывание в беспредельно широкую и спокойную лагуну, полную тишины и тепла.

Это состояние настолько потрясло его своей новизной, что сначала он не ощутил ничего другого, кроме мира и покоя. И полное забвение всего.

Постепенно обозначилось время, течение времени, и в нем, в полумраке его, он различил свет. Откуда-то сбоку свет. Сверху и сбоку. Понемногу этот хаос из света и теней стал складываться в стены крупного камня, поросших травой и плюшем, в рухнувшие колонны и остатки капителей. Надо всем этим парил полукруглый купол. Остатки купола, латинской кладки. И пробоина в стене, с щебечущей листвою пробоина.

А еще через некоторое время хлынули звуки в руины. Сначала он не понял эти звуки, этого пульсирующего на все лады биения. Как если бы груда монет высыпалась на каменные ступени лестницы. Подпрыгивающие и скачущие монеты...

Заглушая шумы утра, звон птиц сотрясал листву деревьев. И он уже знал, что деревья, стоящие близ руин, бросают сиреневые пятна теней на розовую землю. Невдалеке, конечно же, была дорога. Мягкая, сельская, из голландских картин, но возможно и аккуратная, асфальтированная европейская дорога, с автомобилем, бегущим по ней туда, к повороту, к чему-то вроде маленького замка или большой таверны.

И необъятные небеса с начинающейся, нежно начинающейся в розовых горизонтах, итальянской весной. В трепещущих, слоеных даях, там, где застыла стрела древнего акведука, воткнутого в горизонт, уже скапливалась туманная дымка, предвестница текущего летнего зноя...

И вот среди всего, среди весны, света, пения птиц, послышались приближающиеся крики. Детские голоса. Голоса бегающих и резвящихся детей. Подобно купидонам кувыркались в весенней лазури детские крики.

Вот дети уже близ развалин. Он слышит топотню их маленьких ног, он видит тени их на противоположной пролому стене. Две тени, мальчика и девочки.

Непоседливый мальчик карабкается на руины, швыряет камни в пещеру развалин, пытается заглянуть внутрь. Осторожная девочка удерживает его от шалостей резонными напоминаниями: "Разве ты не помнишь предупреждений няни? Нам запрещено ходить сюда, мы не должны огорчать нашу

маму, она тяжело больна сейчас. А вот и няня бежит, и нам влетит сейчас..."

Слышится приближение шаркающих шагов и скрипучий голос возвещает: "Дети, скорее домой, скорее. Радость в доме. У вас братик. Ваша матушка родила сынишку только что. Его зовут Леопольд".

Мальчик одним прыжком вскочил на край руин. "Леопольд", — крикнул он, и эхо мячиком запрыгало в гулких потолках.

"Леопольд", — и медленным дождем посыпалась пыль с седых карнизов.

"Леопольд, Леопольд, Леопольд", — кричали дети, хлопали в ладоши и смеялись.



Леонид ИОФФЕ

СВЕТЛО И ОБРЕЧЕННО

Такая путаница, право, завелась.
И это кроме и помимо главных жалоб.
Домашние
меня хоронят в кашле.
Замысловато все.
И нашим не до нас.

Мы вместе шествуем,
друг друга сторонясь.
Мы продолжаемся
светло и обреченно.
Назначил нас
замысловато и почетно
тот, кто нас выдумал
на благо всех не нас.

* Все стихотворения, кроме последнего, — из нового сборника стихотворений "Третий город".

СВЕТЛО И ОБРЕЧЕННО

Такая, право, несусветица взялась.
Твердим сконфуженно:
неясно, как жить дальше
с одной отдушиной,
что позже или раньше
все образуется за бруствером у нас.

1976 г.

1.

Кто славы облако поджег
над лагерем названных братьев —
который год чего-то ради
хожу с обугленной душой
и жалуюсь, что силы вышли
и что душа — дупло,
глубокая для боли ниша,
обугленная сплошь.

2.

Нещадно полыхает время,
и оплывает жизнь, как воск,
а впереди-то каково —
пора отчаянью поверить,
в отчаяние погрузиться,
чтоб никогда уже не всплыть.
Судьбы разбитое корытце —
все, что осталось от судьбы.

1976 г.

Где не игра и где забава?
Я — не хранитель словаря
и не актер налево справа.
Где не забава, где игра?

Не знали братья, что к чему,
и все на всех в обиде жили
за то, что напрочь позабыли,
кто кем приходится кому.

И раз уж их нашла судьба
и помогла им заблудиться, —
все глубже кутались в себя
и туго жизнь играли в лицах.

1978 г.

Гале

Ничто не любо и не мило.
Куда б свой манекен приткнуть,
когда вздохнуть-то не под силу,
не то что пальцем шевельнуть
и ногу отвести для шага,
ходьбу составить из шагов —
откуда я возьму отвагу
тягаться с явью смельчаков.

И пробуждаемся мы странно,
как будто сами не свои:
ведь вот понадобится, и —
мы понатужимся и встанем,
и жить, живя, продолжим вдруг,
труд продолжения опасный
продолжим вдруг, неся напрасно,
жить, не живя, неся мечту.

1976 г.

КОЛЯСКА

В залетное и редкое мгновение
приглянется мне тихий майский вид.
Поездка в отдаленное имение.
Рессорная коляска на двоих.

Мы, кажется, сидим в полуобнимку,
к откинутому верху приклонясь.
Прогулка в акварельную картинку
от тихого предместья началась.

С пригорка открываются так ясно
неброский перелесок и село.
И катится рессорная коляска,
все катится с пригорка под уклон.

Потом мы отдыхали у беседки.
Потом по сторонам и впереди
спокойная и мягкая расцветка
легла на перелески и пруды.

А солнце светит низкое, к заходу.
Коляска катит мерно и легко.
Поездка в акварельную погоду,
В далекую усадьбу за рекой.

1976 г.

1.

В лобное место
всяя Земли,
в террасы и в лестницы
гор
вросли
светлокаменные очертания —

лобный город в неровен-то час
от начала веков до скончания
казней, розней и братства в лучах.

2.

На холмах и во впадинах жили —
гордый львенок с герба не свиреп —
но живя, словно к праху спешили
под безмолвие и под свирель,

и следили, как вдутый рассветом
ворох света осядет вот-вот,
туфом тесаным дорозовеет
и обратно за землю уйдет,

ведь с гористого лобного места
всей земли и небес и годин
дни летят, словно перышки в бездну,
в бездну дней, где лежит день один.

1977 г.

Нет, нет, не только страх дурящий
и в сердце — тля, раз не жилец, —
еще и вес пера легчайший
и зря скользящий по земле,

еще и взгляд никак не зоркий,
зато почти что свысока, —
ведь долго будет житься горько
тем, кто здоров и кто богат.

А я — волан, перо, пушинка
среди весомых гирь-людей,
и даже есть немного шика
в прискорбной легкости моей,

теперь и в тяжести я легок,
теперь и рядом я далек,
я задеваю женский локон,
как парижанку ветерок.

С меня, как с гуся, те часочки —
не каплет время не жильца —
ведь, как песок в часах песочных,
я истекаю для конца.

1979 г.

**НОВЫЙ СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ
ЛЕОНИДА ИОФФЕ "ТРЕТИЙ ГОРОД"
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПО АДРЕСУ:**

L. Yaffe
2/18 HaganaSt.
French Hill
Jerusalem
ISRAEL

ЦЕНА: 100 ЛИП
ПРИ ЗАКАЗЕ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ: 3 ДОЛЛАРА.



Илья БОКШТЕЙН

УЗОРЫ ОЗАРЕНИЙ

Шесть фрагментов

КОНЕК КУЛИСЫ

Приходи ко мне ночами
Без луны, без фонарей
Белка страсти за плечами
Месса ночи у дверей
И как прежде молодея
Будут биться каблуки
Безбородым чародеем
Будет Вена у реки
В безречение умчимся
Бубенцы вдогонку нам
Унесут коньки кулисы
Колесницы по лесам
По старинке накренится
Колесница налегке,
Мы увидим на тропинке
Балерину на цветке
Платье кружится платками
С завитками у плечей

УЗОРЫ ОЗАРЕНИЙ

65

Фортепьянные педали
Язычками фонарей
Буду объясняться
В будущей любви
Будете мне сниться
Будто фонари
Будем мы кататься
В санках по горам
Будем расставаться
Душу вам отдам
В огороде жди меня
Поцелует тебя ослик
Листья кружатся —
Вся осень —
Зонтик в кружевах огня

КОКОН РОКОКО

Млечный шлейф закачался
Как верба в берберовой шляпке
И на шляпе пушинки дождя
На ресницах за морем сосны
Улыбнулась ты мне
Из колосьев играющих в прятки
Усмехнулись за лесом подолов
Излучины складки
Как перчатка на скрипке в гостях
Поцелуя печальной весны
Ты отвергла меня
В обиняк филигранно-безнежно
Птицей глянул со шляпы белея шнурок
Смуглы руки твои — пояса
Под волнистой косою безбрежной
Под косою я увидел любви адреса
На письме красной родинкой профиля рот
И на белом листе под ладонью
Огромные листья —любви невзаимной глаза.

НА БЛЮДЦЕ ГОЛУБОМ ВЕСНА

Свет на золотом снегу
 След на голубом лугу
 Лилией опять голубою стать
 Голубя ласкать
 В золоте долин луга
 Пышные вдали стога
 Лучше мне опять —
 Можете ль понять? —
 Яблоками стать
 Друг мой любимый
 Долгие зимы жду твоего тепла
 Лето приходит бабочка вроде —
 Солнышко у весла
 Розовый ящик, ягод не слаще
 Елочки на горе
 Тянутся к листьям черные цапли
 Пляжами загорев
 Блик на раздвижном столе
 В листьях расписной омлет
 Вижу скоро мне восемнадцать лет
 В красочном стекле

ФОВИЗМ

Осенний клен
 Он зажжен у стены витражом
 Обоживлен
 А бульвары давно обнаженные
 Обрывки листвы на крышах горят
 Летят сквозь мосты
 На шляпах намокшие пятна
 Узоры травы на грядках
 Что дети рисуют в тетрадках
 С чудной головы
 В заброшенной лодке-молодке

Катается облака моток
 Нитка тянется в окно
 Забытого свечой поэта
 Миниатюрного рассвета за кормой
 Летающий платок
 И по картине на стене
 Стекает многоцвет
 Цветов и вазы диалог
 Их влажных листьев потолок —
 Платка расплывчатый намек
 На тонкой раме докраснев витком потухшего огня
 Ее листом отяжелев
 Дошел до скатерти
 Докрашен на разглаженном
 Большим карандашом столе и на рубашке опчелев
 Иглою галстука сгорев
 Стрелюю кисти у меня
 Стремительные волосы натурщицы
 Роскошены колосьями — роскошницы-плащи
 Скрепленные небесными заколками
 Растущими в пылающем тепле
 На столике лазоревом узорами кракле
 Округлены в оранжевом стекле
 И на фарфоровой тарелке у окна
 Зрачками радостного окуня звенят —
 Раскрашенными масляными окнами

ВЕБЕР

Мы на сцене
 Проходят колонны — помахивать платьями
 Все бинокли нацелены в центр
 Кто там чувствует нас?
 И вращая наряженной тростью
 С мольбой тростниковых объятий
 Приглашает Пьеро нас на волю — на вальс
 Шум волны не слушай шелеста в нем нет

Шелестит рубашка и подошвы цвет
 В танце ритмы стройны каблуками
 Пот раскрасил одежды — расслоенный торт
 Расступается занавес — кружится знамя
 Окружил меня чудной руки поворот
 Тяжело после чуда вернуться на сцену
 Перепутались роли вдруг стало темно
 Рассмеяться бы! Как всесторонне гиену
 Хрупкий ангел целует — ему все равно

БЫЧОК НА СКАМЕЙКЕ

Колонны трепет за луной колонну грыз клинок-рассвет
 В далекий век чужой звездой стучится смех-городовой
 Судьба скамейку бережет на ней часы — на "нет" не пить
 На лед завьить — конек поет — любви цветок
 С ладони ветка не сорвет
 Волны столпились пугливо словно решения ждут
 Бросить на лица счастливых счастью назначенный суд
 Темным пятном меж грядами пара на лодке плывет
 Он ей влюбленно глазами сказку речную поет
 Помнишь про то обещанье нимфу манил Полифем
 Это любовь иль прощанье с жизнью со светом со всем
 На перекладине у сна спиралью скорчилась волна
 С весенним садом у цветущего окна

Воину Хлебникову

В. ТУПИЦЫН

СТИХИ О ПРЕДКАХ

о небо, как прозрачно привидение,
 когда оно впадает в меланхолию,
 когда оно теряет оперение
 у входа в мир иной: прощай, герой!

бросая по пути предметы гордости,
 роняя знаки всякого достоинства,
 на поле повсеместной нашей доблести
 оно — трофей незримый, вслед за ним —
 плетется время на лошадке вечности
 грудному самозванцу чистить перышки,
 и в пыльной альбе пифия — сомнамбула
 выкрикивает птичьи имена.

уснули муравьи в стеклянном дереве,
 и в пламени дотла сгорело зарево...
 о небо, как прозрачно привидение
 у входа в мир иной, прощай герой.

1971 г.

Мы входим к предку в каменный ручей
его глаза как минин и пожарский
не поднимая из волны очей
он мрачно правит рыбьим государством:
подобно флюгеру вспорхнув над черепицей,
он в нас стучит чугунной рукавицей, —
ему на завтрак солнце аустерлица
приносит заводной буонапарт,
осколок зверя и огарок птицы,
времен увядший водопад, —
людовик дымный как везувий
несет ему своих безумий
струи арагвы и куры,
подобно дереву мы рвемся из коры,
скребется прошлое как мышь на дне фиала,
в котомке нищего обломок буцефала
и мазарини вышитый крестом —
он дюку ришелье грозит перстом,
а ришелье грозит ему бутылкой, —
черствеет жизни хмурая просвирка,
под одеяло просится душа,
тюрбан наш спит, вздремнув как паранджа,
качает нефть в арабский полумесяц, —
когда наверх —
на всех не хватит лестниц.

* * *

Над лисой и виноградом
пыльной мебелью судьбы
вьются духи, древ дриады,
ходят вещи по грибы.

Ходят по воду предметы
и фамильные портреты,

к ним предтеча из ручья
обращается на я,
предок голосом веков
им поет из-под сирени,
им бы класть на дно свирели
этой музыки жуков.

* * *

Пускай судьбы изогнут рог,
направленный к виску,
невеста ты моя, песок, —
мы говорим песку

без саранчи тоскует выюн
как пепел без золы
зажжен любви его меджнун
но нет его лейлы

пылится в завтрашнюю даль
вчерашний мотылек,
увял надежд его миндаль,
тростник его поблек

садится время за холмы
сегодняшнего льда
ворона линий золотых
крылатая слюда.

1979 г.

*Алеше Хвостенко
/ода, проигранная в шахматы/*

я посвящаю эту оду
тому, кто дольше, чем всегда,
тому, кто погружаясь в воду,
сам более воды — вода;

увы, когда он входит в пламя,
он ослепительней огня,
им лань любит как ланью,
и конь в нем чувствует коня;

в нем сцилла признает харибду,
и в нем пчела находит мед,
в нем слышит рог мотив старинный,
и дуб в нем дуба узнает;

я посвящаю эту оду
тому, кто дальше, чем везде,
аминь, благословенны седла,
неподчиненные узде.

ЗОНА ОТДЫХА

или

ПЯТНАДЦАТЬ СУТОК НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

"Было у тещи
Семеро зятьев.
Хомка сел,
И Пахом ка сел,
И Гришка сел,
И Гаврюшка сел,
И Макарка сел,
И Захарка сел.
"Зятюшка Ванюшка,
Поди и ты сядь!"

Трагикомическая повесть из российской жизни.

Иерусалим — 1979 год

"Зону отдыха" можно приобрести в магазинах русской книги Израила и других стран. Можно также приобрести у автора, прислав чек на 130 израильских лир /из-за границы — 6 долларов/ по адресу: Felix Kandel, Mericaz Klita, Mevasseret Zion 61a, Jerusalem, Israel

J. TVERSKY. Antiquarian bookseller
20, Shenkin St., Tel-Aviv, P. O. B. 4356, Israel

КНИГИ, ПЕРЕИЗДАННЫЕ ТИРАЖОМ 200 ЭКЗ. ЦЕНА В US. \$
ЮДАИКА

ЕВРЕЙСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ. По данным переписи 1897 года и по новейшим источникам к 1917 г. Петроград, 1917 г. (10 долл.)

ЗАЯВЛЕНИЕ РАВВИНОВ РОССИИ. Заявление против обвинения в употреблении крови. Подписано 813 раввинами. Приводятся их имена и адреса городов-общин, которые они представляют. СПб. 1911 год, (5 долл.)

ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ В РОССИИ. Том 2/1, Москва, 1921 г., 154 стр. с картой и иллюстрациями /надгробные надписи, страницы из редких книг синагог и др./ В составлении участвуют: Балабан, Винер, Вишницер, Гессен, Гинзбург, Дубнов, Кулишер и др. (15 долл.)

ИДЕЛЬСОН А. О еврейской социал-демократии. Петроград /1907г./, (4 долл.)

КАНТОР И. Еврейское землеустройство на Украине. С таблицами в тексте. Москва, 1929 г. (6 долл.)

КАУТСКИЙ С. О еврейском пролетариате. 1917 г. СПб. (4 долл.)

КУЛИКОВСКИЙ М. По поводу книги И. О. Кузьмина: Материалы к вопросу об обвинениях евреев в ритуальных преступлениях. Приложение: Сохачевское дело. СПб, 1913 г. (4 долл.)

КУЛИШЕР М. Миф о ритуальном убийстве у евреев. /Возникновение и развитие его./ Москва, 1901 г., (4 долл.)

ЛЕДАТ Г. Антисемитизм и антисемиты. Причины антисемитизма и антисемиты в Советском Союзе по группам. Много таблиц в тексте. Ленинград, 1929 г. (10 долл.)

ЛЕНИН. О еврейском вопросе в России. В книге освещаются вопросы: 1. антисемитизма, 2. ассимиляции, 3. еврейского рабочего движения, 4. погромов, 5. национального равноправия, 6. еврейского школьного дела и культуры. В конце приложены документы. (14 долл.)

ЛУРЬЕ С. Страница из талмуда. Методы талмудической юриспруденции. СПб, 1891г. (5 долл.)

ЛЬВОВ-РОГАЧЕВСКИЙ В. Русско-еврейская литература. Библиографический и критический обзор еврейской литературы и поэзии, начиная с 1803 года до настоящих дней. Москва, 1922 г. (18 долл.)

МЕЛИКСЕТ-БЕК Л. Еврейско-армянские отношения. Изд. Гос. Историко-этнографического Музея евреев в Грузии. Тбилиси, 1945 г. Издано 50 экз. (10 долл.)

О БОРЬБЕ С АНТИСЕМИТИЗМОМ В ШКОЛЕ. Факты распространения антисемитизма среди учеников и учителей в советских школах и методы борьбы с ними. Издание Народного Комиссариата просвещения РСФСР. Москва, 1929 г. (8 долл.)

ПЕСНИ МОЛОДОЙ ИУДЕИ. Сборник стихов Бялика (в переводах Маршака), Я. Гитина, Я. Година, Л. Яффе, С. Маршака. Редкий сборник стихов. Ялта, 1906 г. (9 долл.)

ПЕТРАЖИЦКИЙ Л. О. О ритуальных убийствах и дело Бей-лиса. СПб, 1913 г., (5 долл.)

Выпускаем каталоги антикварных книг ежемесячно. Постоянным покупателям высылаем авиапочтой. Принимаем заказы на все книги, газеты и журналы, издаваемые в Израиле на разных языках.



А. Б. ИОȘУА

О ПРАВЕ И НУЖДЕ

Как ни прискорбно сознавать, но вопрос об историческом праве еврейского народа на Эрец Исраэль*, один из центральных вопросов, который занимал сионистское движение с его первых дней, — остается нерешенным и до сих пор. Вновь и вновь он всплывает на поверхность и сопровождает наши политические дискуссии как внутри страны, так и за ее пределами. Выясняется, что споры о праве еврейского народа на Эрец Исраэль сопровождают нашу историю с древнейших времен, начиная со Второго Храма. Было время, когда мы думали, что эта проблема уже потеряла свою актуальность/ с 48-го по 67 год/. Теперь, однако, выясняется, что она находилась лишь в "дремлющем состоянии" и после Шестидневной войны снова встала во всей своей остроте. Сейчас же, тринадцать лет спустя, в спорах о будущем Западного берега Иордана вопрос о праве евреев на Эрец Исраэль приобретает ключевое значение. Однако в сути этой проблемы стоит разобраться.

* Целостный Израиль, включающий Западный берег Иордана.

Даже те, кто считает, что еврейский народ имеет историческое, или религиозное, или какое-то другое право на земли Западного берега, должны видеть различия между правом и долгом. Нуждающийся в пособии человек имеет право получать это пособие, но это не значит, что он обязан его получать и не имеет право им поступиться. Человек имеет право голоса на выборах, но это вовсе не его долг. Каждый человек и каждый народ может поступиться своим правом. Следовательно, кто-то может полагать, что у еврейского народа есть безусловное право аннексировать все земли Эрец Исраэль, завоеванные в Шестидневной войне, но вследствие опасения, что таким образом будет образовано двунациональное государство, или будет сорван мир с Египтом, или усилится экономическое давление Америки, оказывается возможным пожертвовать этим правом. И действительно, крайние среди наших "ястребов" доказали, что для них вполне приемлем принцип уступки права. Многие из них утверждают, что историческое право еврейского народа распространяется не только на Западный, но и на Восточный берег Иордана, — вспомним, что символ военно-национальной организации Эцель, действовавшей в подполье при власти англичан, указывал на оба берега Иордана. Но, похоже, что в Израиле сегодня не найти человека, который не был бы согласен подписать мирный договор, признающий Иордан как окончательную границу государства Израиль.

Что из этого следует? Из этого следует, что подавляющее большинство сторонников исторического права еврейского народа готово поступиться площадью в 90 тыс. кв. км, если выразить это количественно. Площадь Иордании — 90 тыс. кв. км, а Западного берега — 27 тысяч. Таким образом, даже "ястребы" в своем требовании раздвинуть границы страны готовы отказаться от 77 процентов территории Эрец Исраэль. Умеренные готовы отказаться от 88 процентов той же территории. Вся разница, следовательно, в 11 процентах. Я не отрицаю, что эти 11 процентов чрезвычайно важны, но я хотел бы подчеркнуть, что все готовы пойти на то, чтобы пожертвовать частью исторического права, и весь вопрос

состоит лишь в том, — какой именно частью этого права пожертвовать.

С другой стороны, можно представить себе позицию человека, отрицающего историческое или всякое другое право на территорию Западного берега, но в то же время отстаивающего необходимость его удержания Израилем из соображений безопасности. Однако мне меньше всего хотелось бы вступить в политическую дискуссию. Этот вопрос меня интересует прежде всего в теоретической плоскости, и уже сейчас я хотел бы подчеркнуть, о чем именно идет речь. Я хочу доказать, что понятие исторического права евреев лишено всякого объективного морального основания, коль скоро заходит речь о возвращении еврейского народа в свою страну. С другой стороны, я хотел бы попытаться доказать, что у еврейского народа есть полное моральное право захватить, даже силой захватить, часть Эрец Исраэль или часть любой другой страны по праву, которое я хотел бы назвать правом экзистенциальной нужды.

ВОПРОС ВЫМЫШЛЕННЫЙ ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ

Я знаю, что в глазах некоторых вся эта дискуссия выглядит как бесплодное занятие мазохистов, ставящих перед собой запутанные вопросы. Разве англичанин или индус будет когда-нибудь говорить о праве на свою землю? Вся история полна завоеваний и аннексий, и никто в связи с этим не задает никаких вопросов. В чем же дело? Нет, нас невозможно обвинить в том, что мы намеренно мучаем себя этим вопросом, его подняли арабы и вслед за ними — весь мир.

Если бы Эрец Исраэль был страной ненаселенной, никому бы и в голову не пришло заводить разговор о праве евреев на свое государство в этой стране. Если бы мы начали наше возвращение в Сион на 100 лет раньше, если бы мы создали Еврейское государство в середине 19 века, или если бы мы вторглись в эту страну огромной массой и физически уничтожили или изгнали бы местных жителей, как это делали многие другие народы, то вопрос о нашем праве не поднимался

бы по той простой причине, что не существовало бы того, кого бы он волновал. Быть может, появился бы фильм о еврейской жестокости, подобный тем, какие появляются в США. о жестокости американцев по отношению к индейцам, и дискуссия кончалась бы всякий раз после окончания сеанса.

О трагической запоздалости сионизма еще не все сказано. Я думаю, что мы могли бы избежать не только еврейской Катастрофы. Сам масштаб конфликта необыкновенно расширился из-за того, что мы с опозданием пришли на эту землю. И если еврейский народ будет и в дальнейшем воздерживаться от переселения в свою страну, наше положение останется трагическим и в будущем веке, даже в условиях полного мира.

Вопрос о нашем историческом праве приобретает такую актуальность прежде всего потому, что страна не была пустынной и потому, что ее жители не были уничтожены или изгнаны. Более того, у этих жителей есть соплеменники, обладающие большой силой и придающие вес их требованиям. На эти требования надо ответить. Были среди нас такие, которые пытались освободиться от этого вопроса ссылкой на то, что вообще не существует права в отношениях между народами. Мир — это, по существу, джунгли, и порядки в нем те же, что в джунглях. Сила — единственный язык, принятый между народами. Однако мы этим аргументом пользоваться не можем, ибо справедливость наших требований представляет собой важный элемент нашей политической силы. Если бы мы были сильной державой, даже не такой, как скажем, Америка или Россия, но хотя бы, как Иран, то могли бы, возможно, и позволить себе говорить языком джунглей. Но этого нет. Аргумент джунглей опасен для нас, ибо в этом случае, если быть последовательными, то он дает оправдание даже, скажем, Гитлеру. Ведь это он утверждал, что вся человеческая история есть грызня волков и что он хотя бы не лицемерный волк. В любом случае, аргументация из мира джунглей становится все более и более неприемлемой с точки зрения экзистенциальной. Даже такие сверхдержавы, как Америка, или Советский Союз, или Китай, вынуждены сегодня

прибегать к аргументации морального порядка. Что же касается нас, то мы просто не можем себя освободить от вопроса о праве. Ведь пользуясь аргументацией джунглей, мы даем и другим право пользоваться такой же аргументацией против нас; даем, например, право Советскому Союзу завоевать государство Израиль.

Однако мы не должны запутаться в разного рода понятиях. Наша сила должна осуществлять наше право, ибо право само по себе не может создавать действительность, но есть разница между использованием силы во имя права и использованием ее без права. Не может быть двух мнений относительно того, что любое использование нами силы сопровождается вопросом, справедливо ли оно, это использование силы, или нет. И ответ на этот вопрос мы должны не просто дать самим себе, но миру, выступающему в качестве судьи.

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

Аргументация арабов очень проста: у евреев нет и не было права вступать в эту страну — ни в качестве народа, ни в качестве отдельных лиц. Это наша страна, и мы имеем на нее свое естественное национальное право. Само поселение в этой стране уже есть агрессия, и мы имеем полное право на самозащиту.

Если бы сегодня какая-либо держава заставила Израиль принять вьетнамо-китайских беженцев против его воли, и они начали бы заселять Негев /даже если бы они не намеревались создать там маленькое вьетнамо-китайское государство/, — разве евреи не имели бы права нападать на их мирные поселения? Само собой разумеется, что ссылки на Декларацию Бальфура, решения Лиги Наций относительно Британского мандата, а также решение ООН о разделе Палестины, — все это не имеет никакой моральной силы, ибо все эти факторы обладали лишь политическими, но не моральными прерогативами.

Ссылка на то, что страна никому не принадлежала и не было тут никакой государственности, опять же недействитель-

на с точки зрения морали. Более половины мира было лишено в начале века своей государственности и находилось под властью чужих держав, и потому, конечно же, нельзя было экспроприировать естественное право палестинских арабов на их родину. Так же обстоит и со ссылками на то, что еврейские поселенцы способствовали развитию страны, что они превратили болота и пустыни в цветущий край. И этот факт не дает морального права и оправдания для еврейского проникновения в страну. Негев находится в нашей власти уже свыше 30 лет и до сих пор остается незаселенным. Разве это дает кому-то право изъять его из нашей власти? Конечно же, нет.

Покупка земель евреями также не создает никакого права. К тому же, земли, купленные ими, составляют лишь малую часть площади, занимаемую Еврейским государством на Западном берегу.

Земля принадлежит живущему здесь палестинскому народу, независимо от того, какая часть ее населена. Так же, как пустыни в Америке, а Альпы в Швейцарии принадлежат их народам. Тот факт, что земля куплена и оплачена в размере полной ее стоимости, еще не отменяет суверенитета народа над его землей. Аргумент, согласно которому евреи имеют право на Эрец Исраэль, потому что они более развиты, чем арабы, тоже сомнителен с моральной точки зрения. Более высокая культура не дает право Германии завоевать Польшу, а более высокая техническая цивилизация не дает морального права Швеции завоевать Африку. Мы видим, таким образом, что все аргументы сионизма вместе взятые не могут дать нам морального права забрать страну или даже часть ее из рук другого народа. И мы возвращаемся к исходному пункту: каково было то право, на основании которого еврейский народ мог прийти в эту страну в начале века, когда евреи составляли лишь незначительное меньшинство /в 1900 году евреев было 50 тысяч, а арабов, по крайней мере, 550 тысяч/ и сказать жителям этой страны: "Ваша страна — это наша страна!"

ОТВЕТ РЕЛИГИИ

Религия отвечает на этот жгучий исторический вопрос, основываясь на Божьем обете, данном в Танахе, Мишне и Талмуде. И так как Бог является источником морали, то этот обет имеет моральную силу и для нас, и для других народов. Однако у этого ответа религии есть свои ограничения и он никак не может иметь всеобщего морального значения. Во-первых, им могут пользоваться только действительно религиозные люди. Не может же человек принять то, что Бог говорит об Эрец Исраэль и в то же время не принимать других положений религии. Здесь невозможно сделать селекцию, ибо в этом случае поступающие так ставят себя выше Бога. Араб может цинично заявить, что он принимает все Божьи указания, за исключением тех, что относятся к Эрец Исраэль. Во-вторых, нельзя не принять во внимание, что этот обет имеет силу только для евреев, но не имеет никакого морального значения для мусульман, для христиан.

Поэтому базисом для обсуждения вопроса с точки зрения морали может служить только позиция, находящаяся вне религии.

В известном смысле евреи были теми, которые вследствие своей рассеянности среди других народов заставили людей пользоваться общими моральными нормами, независимо от религии и веры каждого народа. Тем не менее, наша религиозная позиция в отношении Эрец Исраэль может иметь большое значение для нас, но она не имеет никакой силы, как только речь заходит об арабах. Хомейни, наверное, всецело предан своей вере, но его религиозные аргументы не имеют никакой моральной силы для других людей за пределами его страны.

По существу, сами религиозные никогда не принимали всерьез Божий обет. Уже сам тот факт, что весь религиозный лагерь готов поступиться 70 процентами Божьего обета, говорит о том, что его границы рассматриваются скорее как мессианское прозрение, чем как конкретное указание, которому надлежит следовать. Далее, тот факт, что известные

религиозные круги пытаются поставить борьбу за целостный Израиль в центр всей политики, является отчаянной попыткой с их стороны задержать процесс секуляризации, происходящей в еврейском народе в начале века и получающей новый размах в Израиле именно потому, что здесь нормальные национальные признаки /территория, язык и государство/ заменяют собой элементы религиозные, которые связывали до сих пор евреев, особенно в странах рассеяния.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРАВО

Сионизм в своей программе и устремлениях почти всегда ссылается на историческое право. Можно найти эту ссылку на историческое право, например, в книге Левы Элиава "Страна прекрасного", в произведениях Жаботинского и во всей литературе партии Труда. Это понятие появляется также в Декларации Независимости, где сказано: "В силу нашего естественного и исторического права..."

Понятие исторического права основывается на следующих главных аргументах. Еврейский народ жил в этой стране 1850 лет назад как суверенный народ, а как национальное большинство он жил здесь непрерывно в течение 1300 лет, исключая краткое Вавилонское пленение. В течение всех лет своей жизни в галуте евреи не переставали видеть в Эрец Исраэль единственную страну еврейского народа, страну, предназначенную для его возвращения, с которой он связан крепкими узами душевного и духовного тяготения. Вследствие этого Эрец Исраэль — это страна евреев, и их право на нее больше, чем право живущих в ней теперь, даже если они и составляют ее большинство. Что касается статуса нееврейских жителей страны, то на этот счет можно различить три позиции. Первая позиция основывалась на том, что палестинские арабы — это люди, лишенные всяких прав, — и национальных, и индивидуальных. Правда, еврейский народ, покидая эту страну, забыл оставить здесь несколько вывесок, на которых, например, было бы написано: "Евреи оставили страну Израила, но они намерены сюда возвратиться и просят

никого сюда не поселяться и оставить страну в покое". Входящие в нее, таким образом, должны были знать, что эта страна им не принадлежит и не будет принадлежать. Подобной точки зрения придерживалось лишь незначительное меньшинство в сионистском движении, хотя и растущее в последнее время.

Вторая позиция исходила из того, что евреям принадлежит историческое право на Эрец Исраэль, арабским же жителям лишь индивидуальные права на землю. Этой точки зрения придерживалось подавляющее большинство сионистского движения, по крайней мере, до сороковых годов. Еврейское государство, которое будет здесь создано, станет государством, принадлежащим не только его гражданам, но и всему еврейскому народу, арабские жители будут пользоваться всеми гражданскими правами — правом избирать и быть избранными, исповедывать свою веру, но все это без общего национального права.

Третья позиция — у евреев есть историческое право на Эрец Исраэль, а у арабов — естественное право на всю Палестину. Компромисса можно достигнуть только путем раздела страны между обоими народами.

Общее у сторонников всех этих трех позиций в том, что историческое право выступает здесь как моральная основа прихода евреев в Эрец Исраэль с целью создания здесь своего суверенитета. Понятие исторического права становится таким образом основой для того, чтобы узаконить возвращение евреев в Израиль. И это же историческое право служит главным аргументом в споре о праве еврейского народа на земли Иудеи, Самарии и сектора Газы.

Обладает ли понятие исторического права моральной силой? На мой взгляд, это понятие, в том смысле, в каком мы им пользуемся, не выдерживает критики.

Когда Моше Шарет поднял вопрос об историческом праве в международных организациях, то ему возражали: "Представьте себе, что все народы начнут использовать свое историческое право, тогда надо будет перевернуть весь мир, сдвинуть народы с насиженных мест, перекроить границы. Как же можно

принять такое требование?" На что Моше Шарет отвечал им: "Но ведь факт, что другие народы не ставят этого вопроса и только мы, евреи, выставляем такое требование. Поэтому нечего вам бояться принять историческое право в качестве аргумента".

Принципиально прав был Моше Шарет. Если тот или иной принцип не приложим ко многим случаям, а приложим лишь к одному исключительному случаю, то это еще не говорит о том, что сам принцип лишен моральной силы. Но в то же время моральное испытание принципа состоит еще и в том, в какой степени он приложим к сходным случаям в прошлом и будущем. Поэтому, для того, чтобы определить, насколько в принципе приложимо историческое право, возведем его в степень общего положения, которое можно было бы сформулировать так: всякий народ, потерявший свою родину, сохраняет свое право на нее, которое будет если не больше, то, по крайней мере, равно праву народа, захватившего эту страну и превратившего ее в свою родину.

Разве такое заключение может казаться справедливым? На первый взгляд — да. Мы можем строить международную мораль по общим правилам морали, существующим в личной сфере. Если у человека был дом и он вынужден оставить свой дом, его владение домом сохраняется, а тот, кто захватил этот дом, лишается права хозяина. Должны ли быть установлены ограничения во времени? В личной сфере такие ограничения существуют — так называемый срок давности. Но когда речь идет о народах, об исторических периодах, то будет естественно не ограничивать во времени право народа на свою страну. И тогда мы можем сказать, что согласно всем нормам морали, народ, как субстанция надвременная, навеки сохраняет право на свою страну, сохраняет его до тех пор, пока он существует как народ. Но здесь требуются два ограничения.

Первое, — народ должен доказать, что он является единственным владельцем страны, которая у него отнята. То есть, что он не захватил ее сам силой у другого народа. Второе, — что он вынужден был оставить свою родину и не мог возвра-

тяться. Первое ограничение вполне соответствует нормам естественного права. Если человек забрал силой чей-либо дом, разве может он требовать возвращения этого дома? Нет. Мы хотим руководствоваться справедливостью. Если наш народ должен был оставить свою страну две тысячи лет тому назад, то мы утверждаем, что наше право имеет полную силу. И если он возвращается, то народ, который занял его место, должен освободить страну или, по крайней мере, вести себя как скромный квартиросъемщик. Но повторяю, это верно лишь в том случае, если народ сам не был завоевателем, в противном случае, он не может выступать против других завоевателей. Если же его право основано на захвате, то ведь и новое владение тоже основано на захвате.

Еврейский народ сам свидетельствует, что он завоевал эту страну у других народов, следовательно, его историческое право основано на завоевании. Если это так, то ведь и право других имеет своим источником завоевание. Тот факт, что это завоевание имело место 3300 лет тому назад, ничего не меняет, ибо мы установили, что в отношении прав народа время не имеет значения. В этом причина того, что историческое право не может регулировать отношения между народами, ибо нет почти ни одной нации /кроме китайцев и некоторых других древних народов/, которые могли бы доказать правомерность владения своей страной. Отсюда, единственным правом является право народа на родину, право не быть изгнанным со своей родины, даже если эта родина была в прошлом завоевана им силой. Но это второе ограничение, связанное моральной силой исторического права, ставит еврейский народ в еще более тяжкое положение. Если мы утверждаем, что право народа на свою родину, отобранную у него, сохраняется, и это право не ограничено во времени, то предполагается, что народ, о котором идет речь, изгнан со своей родины силой и теперь хочет немедленно вернуться. Это кажется чрезвычайно странным, что евреи, оставившие свою страну и поселившиеся совместно или в рассеянии, в других местах, вдруг вспоминают по истечении сотен лет о своей родине и хотят вернуться и изгнать людей, которые тем временем поселились в

оставленной ими стране. Как можно оставить страну без жителей и гарантировать, что никто чужой не поселится здесь. Не превращается ли она в некую часть земли, находящейся во власти всего человечества?

История преподносит нам жестокий урок, касающийся отношения еврейского народа к Эрец Исраэль. Еврейский народ не был силой выброшен со своей родины, а выбросил самого себя /и продолжает не обращать на свою родину внимания и по сей день/. Половина еврейского народа находилась вне Эрец Исраэль во времена Второго Храма. Римский галут — об этом свидетельствуют все историки — был оставлен многими евреями, которые предпочли рассеяться во многих далеких и близких странах. В течение всей своей истории еврейский народ не сделал никакого серьезного усилия для того, чтобы возвратиться в Эрец Исраэль, даже тогда, когда была такая возможность, — ни как народ, ни как отдельные личности.

Доказательством того, что еврейский народ колебался и колеблется, возвращаться ли ему в свою страну, — служит последнее столетие. Вопреки жестокому антисемитизму, несмотря на еврейскую Катастрофу и несмотря на то, что Израиль открыт для каждого еврея, — до сих пор в этой стране пребывает только 20 процентов еврейского народа. Историческая связь, о которой говорили вожди сионизма, как о факторе, дающем право на эту страну, была исполнена содержания, но она же и лучшее свидетельство и доказательство того, что народ заменил свое реальное возвращение этой постоянно утверждаемой исторической связью.

Но разве такого рода связь дает право на страну? Если палестинцы проявят в течение ближайших ста лет глубокую душевную привязанность к Палестине, будут молиться на нее, — разве это даст им право, превалирующее над правом живущих в этой стране? Разве существовавшая в XVII веке связь польских евреев с Эрец Исраэль сама по себе дает им на страну большее право, чем право жителей этой страны? Принцип исторического права мог бы быть принят при наличии по крайней мере двух дополнительных условий.

Во-первых, если бы еврейский народ был подлинным владельцем страны, а не завоевателем ее, и во-вторых, если бы этот народ был силой изгнан со своей родины и, со своей стороны, пытался бы возвратиться в нее немедленно, чтобы избежать создания вакуума, который позволил другим народам заполнить эту пустоту. Но этих условий нет в нашем случае. Их нет и в отношении всякого другого народа в аналогичной исторической ситуации. Поэтому историческое право имеет только теоретический характер и не может выдержать критики с точки зрения естественного права, особенно, если оно ставит другой народ перед лицом тяжелых выводов относительно его положения в спорной стране. Таким образом, вопрос возвращается к своему исходному пункту: разве сионизм лишен моральной основы?

ПРАВО ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ НУЖДЫ

Даже те из арабов, которые готовы жить с нами в мире, часто спрашивают: по какому праву вы хотите забрать нашу страну или даже ее часть? На мой взгляд, есть нечто несовершенное в мирном процессе, который базируется только на признании фактов, без признания справедливости. Советский Союз мог оправдать свое вторжение в Чехословакию политическими соображениями, но он ни в коем случае не мог найти морального оправдания. В тот момент, когда мы анализируем наше решение палестинской проблемы и возводим его в абсолют, мы видим, что оно теряет свою моральную силу.

Возможно, сказанное мною утвердит многих в их глубокой /и справедливой!/ уверенности, что сионистское дело имеет свое моральное оправдание, но, с другой стороны, как мы видим, на вопросы, поставленные нашей историей, достаточно трудно дать ответ, стоящий на высоком моральном уровне.

Я подозреваю, что, если бы я рассказал историю сионизма, приложив ее к другим, далеким от нас народам, то мои аргументы в его пользу были бы отвергнуты, как совершенно недостаточные для того, чтобы оправдать, с моральной точки

зрения, возвращение евреев в Эрец Исраэль. Я хочу поэтому предложить соображение, которое всегда существовало в системе сионистской аргументации, но не занимало центрального места. Я назову его — правом экзистенциальной нужды.

Если бы мы, как судьи, обсуждали ситуацию человека, не имеющего собственного угла и в связи с этим возникла бы угроза его жизни, если бы этот человек занял часть чужой квартиры, — разве мы осудили бы его? Мы бы его оправдали, ибо его действия диктовались необходимостью и, конечно же, лучше, чтобы был нанесен кому-то ущерб, чем смерть этого человека. Все это при условии, что человек занял только часть квартиры. Конечно, пострадавший мог возмущаться: почему именно в моей квартире он нашел себе убежище? Но это возмущение не может быть принято во внимание, ибо ведь и сосед также мог бы спросить: а почему в моей квартире? И несть этому конца.

В новую эпоху, особенно со времени революции 1848 года, национальное самосознание начало формироваться таким образом, что суверенитет стал одной из основ существования каждого народа. Когда государство превратилось в мощный фактор национального сплочения, все народы должны были пойти по пути национального самоопределения. К концу XIX и началу XX века существовало немало народов, которые хотя и жили в своих странах, но не имели государственного суверенитета, и вопрос об их самостоятельности представлял как один из самых жгучих вопросов их жизни. Однако три народа оказались в более тяжелом положении, они были народом без родины, это были армяне, цыгане и евреи. Нет сомнения, что определенная доля вины за создавшееся положение лежит на них самих, но с точки зрения экзистенциальной это ничего не меняет — положение народа без родины становится все более опасным в современном мире. Дело не только в отсутствии суверенитета, с помощью которого он может защищаться и быть ответственным за свою судьбу, но и в том, что, оказавшись в рассеянии, его поле трения с другими народами очень велико. А его экстерриториальность лишает его возможности даже быть национальным меньшинством.

Народ без родины — не меньшинство, он чужой везде, и есть большая разница между этими двумя категориями с точки зрения экзистенциальной безопасности.

Это было доказано армянской катастрофой во время Первой мировой войны, еврейской и цыганской катастрофами во время Второй мировой войны.

Совершенно верно, что, если бы еврейский народ имел хотя бы клочок земли, в пределах которого он мог бы осуществлять свой суверенитет, Катастрофа не приняла бы таких размеров.

У евреев было относительно хорошее убежище в Америке перед Второй мировой войной. Но это убежище не могло спасти евреев Европы — американцы не хотели открывать перед ними ворота своей страны.

Некоторые утверждают, что и Палестина, во время Второй мировой войны, была под угрозой завоевания армией Роммеля, так что, если бы и существовало тогда Еврейское государство, оно было бы уничтожено нацистами.

Я не знаю, что сделали бы нацисты. Можно полагать, что они собрали бы всех евреев в этом государстве, ведь перед тем, как появился план уничтожения, существовал так называемый "План Мадагаскара", предусматривающий здесь концентрацию евреев со всего мира. Гитлер хотел прежде всего "очистить Европу от евреев", и только на более позднем этапе, когда выяснилось, что их никто не хочет принимать, был поднят на щит план их уничтожения. Но даже если и это неверно, то все равно нет сомнения в том, что граждане Еврейского государства умирали бы на поле боя, а не в лагерях уничтожения, — есть колоссальная разница между этими двумя видами смерти.

Право экзистенциальной нужды, существовавшее всегда в еврейской истории, усилилось и обрело куда более глубокий смысл с созданием светских национальных государств и дало еврейскому народу /как и другим народам, лишенным родины/ моральное право захватить, пусть даже силой, часть любой страны в мире, чтобы основать там свое суверенное государство. Естественно, что народ решил возвратиться в страну, с которой он был связан исторически и в которой

он видел свой дом. Но у него — и я это подчеркиваю — есть право на любое место в мире. Если бы Эрец Исраэль оказался закрыт перед еврейским народом /а это было вполне возможно, если бы евреи опоздали на 20—30 лет/, с моральной точки зрения еврейский народ мог взять силой и другое место. Это, конечно, гипотетический случай, ибо еврейский народ с трудом хочет возвратиться даже в свою страну и никакой еврей не поехал бы в Уганду, чтобы создавать там свое государство. Итак, мой вывод сводится к следующему: народ без родины имеет право захватить силой часть родины другого народа и создать там свое суверенное государство.

Арабы, даже не признающие существование еврейской нужды, говорят: мы не ответственны за положение евреев. Но ведь и никакой народ не ответствен. Эту ответственность несет весь мир. И арабы, как часть мира, не могут не дать убегающим от смерти войти в их дом. Правда, арабы могут сказать: ассимилируйтесь там и среди тех народов, вместе с которыми вы живете. Почему мы должны платить за ваше желание остаться евреями? На это мы можем ответить: во-первых, требовать от кого-то, чтобы он отказался от своего национального лица — значит требовать его духовной смерти. Да ведь и сами палестинцы не согласились бы ассимилироваться среди других арабских народов. Как же они могут этого требовать от нас? Во-вторых, на этот вопрос есть еще и исторический ответ — ассимиляция зависит не только от ассимилирующихся, но и от готовности других народов принять их. Ведь и ассимилированные евреи не избежали своей судьбы в газовых камерах.

Многие советские евреи готовы были ассимилироваться, но этот путь оказался для них закрытым. Вот почему право, вытекающее из нужды, и есть подлинное право. Оно произрастает из ситуации, которая не оставляет альтернативы. Сионизм предвидел приближение пожара, и история доказала, что предвидение этого не было спекуляцией.

Следующий вопрос — это вопрос о части, на которую распространяется право экзистенциальной нужды. Сторонники целостного Израиля могут утверждать, что Палестина, расположенная на двух берегах Иордана, представляет собой

целое, а Западный берег Иордана — это его часть, и вот на эту часть мы претендуем. И я должен признать, что они имеют право на такое утверждение с точки зрения предложенной мной системы аргументов.

Другие могут сказать, что западная часть Иордана — это целое, и поэтому наше право — взять часть этой страны. Сами палестинцы еще не решили, каких масштабов должно быть целое, то есть их страна. Мне кажется, что справедливое разрешение этого вопроса зависит не только от общей территории, но и от того, какая часть того народа, в страну которого проник другой народ, живет на спорной территории. И тут становится ясно, что большинство палестинского народа жило и живет в западной части Эрец Исраэль, на Западном берегу Иордана.

Неопровержимым фактом является то, что сионистское движение на известном этапе признало право палестинцев получить часть земель на западе Эрец Исраэль и создать там свое государство. Мы были бы счастливы, если бы арабы в свое время приняли план раздела, и благодаря этому стало бы возможным избежать Освободительной войны с ее многими жертвами. Отказ палестинцев принять тогда план раздела и их тотальная борьба против него не лишает их права теперь принять принцип раздела в границах 1949—1967 гг. Это так же, как отказ евреев в течение сотен лет галута вернуться в Эрец Исраэль не лишает их права сделать это сейчас.

Есть такие, которые утверждают, что народ, потерпевший поражение в войне, утратил право на свою страну. Это — полный абсурд. Даже немцы, развязавшие Вторую мировую войну, не потеряли свое право на Германию, и тем более об этом не может быть и речи в отношении палестинцев, война которых ни в коем случае не может быть приравнена к фашистской войне. Всякая попытка такого рода только преуменьшает масштабы нацистского злодеяния.

Экзистенциальная нужда дала нам право прийти сюда с целью захватить часть Эрец Исраэль. Сионистское движение старалось уменьшить страдание местных жителей, оно направляло поселенческую деятельность в незаселенные районы, не

изгоняло людей с насиженных мест, пыталось развивать страну на пользу всем жителям. К оружию сионистское движение прибегало только в целях самозащиты. До Освободительной войны не было ни одного палестинского беженца, наоборот, сюда иммигрировали многие арабы из окружающих стран, но все это еще не давало морального права захватить землю Палестины. Единственное наше право происходит из положения еврейского народа, не имеющего выбора.

Огонь охватил Европу. Он не мог не объять и арабские страны. Израиль вырвал евреев арабских стран из лап военно-деспотических режимов. Но, как было сказано выше, основание права экзистенциальной нужды — в захвате части чужой территории. Если мы хотим избавиться от положения народа без родины тем, что превратим других в народ без родины, то тем самым мы разрушим наше право. В этом случае нам останется говорить только языком силы, не будем же удивляться тому, что более сильные будут говорить и с нами языком силы.

Не стану вдаваться в детали вопроса, связанного с определением того, кем являются палестинцы. Всякий араб — он прежде всего сириец, египтянин, ираец и только потом араб. Весь мир признает в палестинских арабах народ. Решающим фактором определения нации является собственное сознание народа. Право евреев, не имеющих общего языка в разных странах и даже отчужденных друг от друга в культурном и религиозном отношении, рассматривать себя принадлежащими к еврейскому народу исключительно в силу своего сознания, в силу того, что они осознают себя евреями. Как же можно говорить, что для нас наше сознание является решающим фактором, а для палестинцев — нет. Этот спор — бесплодный спор, и он приходит к концу. Палестинцы еще пытаются в своих конвенциях "мудрствовать лукаво", утверждая, что евреи не народ, а лишь люди, объединенные религией, но и они начинают понимать, что их путь — это путь хаоса. Чем скорее закончатся эти бесплодные споры и эта бесплодная борьба, тем больше будет сбережено слез и крови.

Газета "Гаарец". Перевод с иврита С. Левковича.



Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

АБСТРАКТНАЯ МОРАЛЬ И ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Вряд ли можно отрицать тот факт, что судьбы еврейского народа связаны с узловыми линиями мировой истории. К какой бы области политической жизни Израйля и всего Ближнего Востока мы ни обратились — будь то автономия палестинских арабов, возвращение Израилем завоеванных территорий, положение в Иудее, Самарии и секторе Газы — неизменно всплывает вопрос об историческом праве еврейского народа на Эрец Исраэль. Можно даже сказать, что нет сегодня более острого вопроса, чем этот.

А. Б. Иошуа в своей интересной и хорошо аргументированной статье отрицает начисто историческое право евреев на Обетованную землю. Верно ли это? Превратилось ли это право в исторический рудимент? Не отжило ли оно свой век? Ведь об исторических правах других народов на оставленные ими страны никто вопроса не поднимает. Почему же это так? А так это потому, что евреи — единственный в мире народ, который, оставив свою землю, не приобрел другой страны. Еврейский народ остался верен своей исторической

родине, которую он вынужден был оставить в результате завоевания ее Римом. Это исключительное явление в мировой истории, но благодаря ему еврейское право не превращается в право надисторическое или внеисторическое, как утверждают его ревнители из еврейского националистического лагеря.

Если бы Эрец Исраэль во время отсутствия евреев был полностью заселен другим народом, то еврейское право осталось бы только реминисценцией, воспоминанием. Но случилось так, что ко времени пробуждения еврейской воли к восстановлению своей государственности страна отнюдь не была ни плотно, ни тем более всецело заселена. В ней оставалось достаточно места для еврейского народа, и при этом не было никакой необходимости выталкивать из страны арабов и наносить ущерб их правам /если, конечно, не признавать за ними права на исключительное владение страной/. Не из невозможности, а именно из возможности страны принять еврейских поселенцев к дополнительно живущим здесь арабским жителям и возник арабо-еврейский конфликт. Как это ни парадоксально, но фактом является то, что весь сыр-бор загорелся потому, что страна вполне могла принять евреев и в то же время не изгонять арабов.

Со своей стороны, евреи, как мы знаем, не признавали исключительного права арабов решать судьбы Эрец Исраэль, ссылаясь на свои права древних жителей этой страны. Нельзя, следовательно, утверждать, как это делает А. Б. Иошуа, что историческое право евреев столкнулось здесь с естественным правом арабов, перед которым оно, это историческое право, должно было отступить, если бы не еврейская экзистенциальная нужда. Но разве правомерно такое противопоставление исторического и естественного права? В действительности, если следовать историческим фактам, мы должны сказать, что здесь столкнулись две национальные исключительности — арабская, которая требовала закрыть страну перед евреями, и еврейская, которая добивалась "еврейского большинства", т.е. доминантной роли евреев в стране.

В своей статье "О праве и нужде" А. Б. Иошуа цитирует

Моше Шарета, который, выступая перед международными форумами, сталкивался с такими возражениями: "Представь себе, что все народы начнут использовать свое историческое право, тогда надо будет перевернуть весь мир, сдвинуть народы с насиженных мест, перекроить границы. Как же можно принять такое требование? " На что следовал ответ Шарета: "Но ведь факт, что другие народы не ставят этого вопроса, и только мы, евреи, выставляем такое требование. Поэтому нечего вам бояться принять историческое право в качестве аргумента". Иногда чисто прагматическое положение заключает в себе целую философию. Именно так происходило в споре Шарета с его оппонентами. Комментируя этот спор, А. Б. Иошуа от себя прибавляет: "Принципиально прав был Моше Шарет. Если тот или иной принцип не приложим ко многим случаям, а приложим лишь к одному исключительному случаю, то это еще не говорит о том, что сам принцип лишен моральной силы". И это совершенно верно. Остается непонятным лишь, почему автор на этом обрывает свои рассуждения, концентрируя их на двух так называемых ограничительных условиях, якобы отменяющих историческое право евреев. Ниже мы еще вернемся к этим условиям, а пока лишь отметим, что путаница понятий в данном случае проистекает из двух обстоятельств. Первое заключается в том, что историческое право в обычном сионистском толковании /и в толковании А. Б. Иошуа/ превращается в право метафизическое.

"И тогда мы можем сказать, — пишет А. Б. Иошуа, — что, согласно всем нормам морали, народ, как субстанция надвременная, навеки сохраняет право на свою страну, сохраняет его до тех пор, пока он существует как народ". Это верно. Однако верно лишь применительно к историческим условиям. Мы уже говорили: если бы Палестина была полностью заселена арабами, еврейское историческое право потеряло бы всякую силу. Моральные ценности, взятые абстрактно, изолированно от исторического процесса, повисают в воздухе и становятся источником бесплодной дискуссии. Точно так же происходит и со спором об историческом праве евреев на Эрец

Израэль. Моральный подход к этому вопросу обязателен для всех, и А. Б. Иошуа это блестяще доказал, но такой подход приобретает свою ценность только при условии, что он базируется на фактах истории, как-то: безысходная нужда евреев — народа без родины, малая заселенность Палестины арабами и т. д.

Вернемся теперь к ограничительным условиям, выдвинутым А. Б. Иошуа, которые представляются нам мало убедительными. Первое из этих условий говорит о том, что евреи сами, в свое время, силой завоевали страну и потому не являются ее владельцами. Не станем говорить о том, что существует точка зрения, которая относит еврейское овладение страной не к эпохе завоевания ее Иисусом Навином, а к временам праотца Авраама. Но если это так, то отнюдь не завоевание является источником владения евреями этой страной. К тому же, если исходить из фактов завоевания, то ведь и арабы завоевали силой, только значительно позже, ту же страну. Почему, с точки зрения морали, следует отдавать предпочтение одному завоеванию перед другим?

Послушаем, что в связи с этим говорит Мартин Бубер. Свою точку зрения он излагает в "Открытом письме к Махатме Ганди" /1939/. Он развивает здесь свою аргументацию, базирующуюся на моральных ценностях, твердо отстаивая еврейское историческое право. "Ты говоришь, — пишет Бубер, — что Эрец Израэль принадлежит арабам., что это грех и жестокость — навязывать евреям арабам". Но, "что значит, — спрашивает Бубер, — что та или иная страна принадлежит тому или иному народу? Ты, конечно, имеешь в виду право. То есть, что у народа есть право владения, единственное и полное, на страну, в которой он живет, настолько полное, что тот, который поселяется в ней без согласия этого народа, — выступает в роли злодея. Но каким путем приобрели арабы это свое право на Эрец Израэль? Путем завоевания силой в целях колонизации. Такого рода завоевания, признаешь ты, дают им право владения, тогда как более поздние завоевания мамелюков и турок, которые были направлены только на овладение, а не колонизацию, не дают

такого права". Затем Бубер продолжает: "Итак, колонизация путем завоевания дает право владения страной, но такая же колонизация евреев, которая, правда, не всегда соответствовала жизненным требованиям арабов, хотя она была очень далека от завоевания, не может дать даже доли в праве владения..."

Бубер, как мы видим, разоблачает лицемерие аргумента, оправдывающего право арабов на исключительное владение Эрец Исраэль: и у арабов праву предшествовала сила.

А вот как формулировал свою позицию Ахад Гаам в предисловии к берлинскому изданию его широко известной работы "На распутье" /1921 г./: По его мнению, евреи — это "народ, который опирается только на моральную силу своего исторического права создать свой национальный дом в стране, населенной теперь другими. Нет у него ни большого войска, ни мощного флота, при посредстве которого он мог бы "доказать свою правоту". У этого народа есть лишь то, что дает ему право, а не то, что завоеватели берут силой, выискивая различные "права", прикрывающие их дела". По мнению Ахада Гаама, историческое право евреев как народа в отношении страны, заселенной другими, означает лишь следующее — право возвратиться и поселиться в стране своих предков, право на труд и беспрепятственное развитие.

Вполне очевидно, что перед нами ограничительное толкование исторического права, и нет в этом праве никаких претензий на доминирующее положение евреев в стране, но нет и отрицания самого исторического права, как это делает А. Б. Иошуа.

Помимо этого, на наш взгляд, автор противоречит самому себе, когда, говоря об исключительном праве народа, предлагает нам формулу: "право не быть изгнанным со своей родины, даже если эта родина была в прошлом завоевана им силой". Встает, однако, вопрос, почему он исключает из этой формулы еврейский народ? Здесь, пожалуй, уместно заметить — и это хорошо известно самому А. Б. Иошуа, — что евреи никогда не ставили своей целью "изгнать" арабов с населяемых ими земель, а самое большее, чего они доби-

вались — это, чтобы арабы потеснились и дали место и им.

Обратимся теперь ко второму ограничительному условию. "Еврейский народ не был силой выброшен со своей родины, а выбросил самого себя", — говорит А. Б. Иошуа, и это утверждение звучит более, чем странно. У Сесилия Рота мы читаем в его "Истории евреев": "В знак своей победы Помпей отослал в Рим золотую лозу из Храма, а также множество пленников. В соответствии с событиями того времени пленники были проданы в рабство. Подобным образом, начиная с 190 года до н. э. во всех Римских войнах в Малой Азии евреев захватывали в плен и порабощали. Так же обстояло дело и во времена многочисленных восстаний в Иудее, особенно во время восстания в 68—70 гг. до н. э. и войны Бар-Кохбы /132—135 гг./, когда число пленников доходило до сотен тысяч". Можно ли, исходя из этого, утверждать, что еврейский народ "выбросил самого себя" со своей родины? Во всяком случае, неопровержимым фактом истории является то, что евреи в войне с римлянами потеряли свою независимость, а Палестина превратилась в одну из провинций Римской империи.

Есть, на мой взгляд, еще одно обстоятельство, на которое следует пролить свет. В Израильской Декларации Независимости сказано "...в силу нашего естественного и исторического права..." — почему здесь упоминается, да еще на первом месте, именно естественное право? Разве это утверждение ложно? Нет, это не ложное утверждение и вот почему: евреи селились в Палестине, ссылаясь на свое историческое право, и их переселение, как и всякий исторический процесс, не мог не оказать своего влияния на действительность. Вот так получилось, что за несколько десятков лет евреи из национально-го меньшинства превратились в один из двух основных народов страны. Из числа родившихся уже здесь, по существу, сформировалось новое поколение ее коренных еврейских жителей, и таким образом еврейский народ получил естественное право на национальное самоопределение. Что прикажете делать с этими евреями? Изгнать их из страны, как этого требуют арабские националисты, адепты так называемой

арабской исключительности? Но каково моральное основание для такого требования? Неужели исключительное право арабов на страну, которое А. Б. Иошуа почему-то кажется морально оправданным, в то время как евреев он такого права лишает?

Наконец, еще одно замечание. А. Б. Иошуа пишет: "Это кажется чрезвычайно странным, что евреи, оставившие свою страну и поселившиеся совместно или в рассеянии в других местах, вдруг вспоминают по истечении сотен лет о своей родине и хотят возвратиться и изгнать людей, которые тем временем поселились в оставленной ими стране". Однако это уже совершенно несправедливое утверждение. Выше уже сказано, что евреи не стремились изгнать арабов из страны, а что касается "вдруг" проснувшегося еврейского стремления возвратиться на свою историческую родину, то стоит ли вообще это опровергать? Евреи всегда хранили внутреннюю, интимную связь с Эрец Исраэль. Вскользь оброненная фраза о поселении евреев "совместно или в рассеянии" /после потери ими независимости/ показывает, что основная суть проблемы ускользнула из поля зрения А. Б. Иошуа. Если бы евреи поселились совместно в какой-либо стране, то это означало бы, что они, как и другие народы, обрели родину, которая, надо полагать, заменила бы им Эрец Исраэль — если не в теологическом, то, во всяком случае, в экзистенциальном смысле.

Вряд ли может быть принято и предлагаемое нам автором противопоставление экзистенциального права историческому. Если применить эту идею по отношению ко всем народам, то не остается сомнений, что современный мир превратится в джунгли. Разве, например, перенаселенный, с миллиардом населения Китай не вправе заявить, что он испытывает острую экзистенциальную нужду захватить мало населенный советский Дальний Восток или Сибирь. То же самое может быть отнесено к Индии и другим странам Азии. Что же касается еврейского народа, то применительно к нему право экзистенциальной нужды в формулировке А. Б. Иошуа выглядит как бессодержательная абстракция. Какие земли,

какие территории могли бы или могут захватить евреи в современном мире? Недаром сам автор вынужден обратиться к праву к Палестине — исторической родине евреев.

Между еврейским рассеянием и историческим правом этого народа существует внутренняя имманентная связь, и в этом вся суть дела. Рассеяние, то есть пребывание народа в полной зависимости от других народов, привело, в конце концов, евреев к гитлеровским лагерям смерти. Это было высшим пунктом еврейской трагедии, ее не хотят понять те, которые отказывают еврейскому народу в его праве на национальную родину. И в этом смысле, если нацистское уничтожение евреев приобрело характер мирового злодеяния, то образование государства Израиль предстает как воплощение исторической справедливости. Именно здесь и произошло полное слияние исторического права с экзистенциальной нуждой еврейского народа.

Как видит читатель, я не защищаю отжившее историческое право, на которое так часто ссылаются израильские экстремисты. Я защищаю экзистенциальное право, которое основывается на торжестве исторической справедливости. Да и сам А. Б. Иошуа признает это, когда говорит: "Естественно, что народ решил возвратиться в страну, с которой он был связан исторически и в которой он видел свой дом". Что это, если не признание единства нужды и права, коренящихся в еврейской истории?

Основная слабость статьи А. Б. Иошуа в том, что она вращается в сфере чистой морали вне связи с реальным историческим процессом. Это не могло не привести автора к абстрактному морализированию, уводящему, в свою очередь, в дремучий лес софистики.

Что касается арабо-еврейского национального конфликта, то в нем решающую роль играло и играет национальная исключительность, как арабская, так и еврейская. Эту исключительность невозможно вогнать ни в какие рамки абстрактных моральных постулатов. Там, где сталкиваются одна национальная исключительность с другой, — нет другого выхода, как компромисс и соглашение.

Свыше 25 лет тому назад было опубликовано эссе Исайи Берлина, посвященное "Войне и миру" Толстого. Между прочим, И. Берлин в нем писал, что Толстой по природе "был лисицей, но думал, что он еж". Образ этот взят Берлиным у Архилока, которому принадлежат слова: "Лисица знает много разных вещей, а еж — лишь одну, но важную". Пользуясь этим образом, можно сказать, что еврейский народ, может быть, соединяет в себе и те, и другие качества — нет более разностороннего, но и более замкнутого, целеустремленного народа, чем евреи. Еврейский народ знает много разных вещей, однако он знает также одну, но важную вещь — она касается самого его национального бытия, его национальной сущности, претерпевающей множество изменений и все же остающейся верной себе.

ОХОТНИК ВВЕРХ НОГАМИ

История моего друга Рудольфа Абеля

Среди ветвей и оленьих рогов на детской загадочной картинке вверх ногами притаился охотник. Различив его однажды, вы не сможете не видеть его всегда.

Долгие годы общения с Рудольфом Абелем, учителем "шпионских наук" и другом, научили Кирилла Хенкина быстро обнаруживать охотника.

Эта книга — история подлинного, никому еще не известного "Абеля" /Вильяма Фишера/. История его семьи, детства, жизни и безрадостного конца в раковой клинике. Это попытка ответить на вопрос, почему опытный "Абель" дал арестовать себя американской разведке, разгадать истинную роль Александра Орлова, бежавшего в 1938 году в США.

Это — история самого автора, "дважды эмигранта Советского Союза", выпускника Сорбонны, участника Гражданской войны в Испании, после возвращения в Союз прошедшего сложный путь — от солдата спецчастей НКВД, после войны — переводчика и радиожурналиста — до отказника, активиста борьбы за выезд, путь, приведший его в 1973 году в Израиль.

Сейчас К. Хенкин — политический комментатор радио "Свобода".

По-русски "Охотник вверх ногами" вышел в издательстве "Посев".

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕДИНСТВЕННУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО
под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ
69 г о д издания

Подписная цена на 1 год 70 долларов
Воскресное издание только 35 долларов

Воздушной почтой ежедневное и воскресное
издание 180 долларов.

Чеки выписывать на имя:
"NOVOYE RUSSKOYESLOVO"
и направлять по адресу:
243 WEST 56 STREET
NEW YORK, N. Y. 10019, USA

*В Новом Русском Слове сотрудничают
лучшие литературные силы эмиграции.
Газета имеет собственных корреспондентов
в Иерусалиме и Тель-Авиве.*

ОТ АВТОРА

Я — экономист. Четверть века занимался советской экономикой в Москве и пытался /не очень успешно/ ее улучшить. С 1974 года занимаюсь ею же в Америке, пытаюсь объяснить прежде всего самому себе, что на самом деле происходит. Пару лет по контракту с Министерством коммерции США я занимался советским государственным бюджетом и вообще финансами и написал об этом большую книгу. Книга скоро выйдет из печати, но она сугубо специальна, в ней масса цифр, специальной терминологии и цитат, публикуется она на английском языке. В общем, нормальному человеку /не экономисту/ ее должно быть невыносимо скучно читать. Правда, некоторые выводы, к которым я пришел, отнюдь не скучны, хотя и не очень веселы.

И еще одна оговорка. Все мое исследование целиком основано на советской литературе, в частности, почти все цифры взяты из официального статистического справочника*. Подчеркиваю это потому, что, если советским пропагандистам или бывшим моим коллегам вздумается со мной спорить, то им придется опровергать собственную статистику. С другой стороны, должен сказать, что я не раскрываю здесь какие-то сакраментальные тайны, доверенные мне и вывезенные в ножке табуретки и/или в тайниках собственной памяти .

Мое исследование в принципе мог бы проделать любой иной, и мы еще вернемся в конце статьи к вопросу, почему пока это не было сделано. Вообще надо совершенно определенно сказать, что все пресловутые советские экономические тайны — это секреты не от ЦРУ, а от собственного народа. Так обстоит и с тем, о чем я рассказываю в этой статье, — серьезная, по моему мнению, угроза советскому режиму как раз и состоит в том, что обо всем здесь написанном, в конце концов, может узнать советское население.

* Центральное Статистическое Управление СССР, "Народное хозяйство СССР в 1978 г. Статистический ежегодник", М., "Статистика", 1979

Игорь БИРМАН

УГРОЗА

Инфляция — главная опасность, нависшая над советской экономикой

СКОЛЬКО У НАСЕЛЕНИЯ ДЕНЕГ

Сначала цифры, увы, без них у нас разговор не получится. Советское население имеет сейчас громадные денежные накопления. В сберкассах примерно 140 млрд. руб., несколько миллиардов в облигациях трехпроцентного займа. Плюс около 20 млрд. руб. в облигациях "старых" займов, выплаты по которым возобновились в 1974 г. Все это по официальной статистике. По моим собственным оценкам, которые лишь косвенно основаны на официальных данных, население имеет на руках /"в кубышках"/ дополнительно не менее 60 млрд. руб.*. Всего таким образом много больше, чем 200 млрд. руб., но из осторожности примем в дальнейших рассуждениях именно этот показатель.

Много это или мало? Так сразу не скажешь, надо с чем-то

* Я определил это на основе довольно сложных расчетов денежных доходов и расходов населения за последние 20 лет и сопоставил со многими другими известными нам фактами и числовыми данными. Оговорю, что в некоторых вариантах расчетов у меня получались даже более высокие показатели накоплений "в кубышках".

сравнить. Во-первых, с годовым денежным доходом населения — порядка 300 млрд. рублей в 1978 г. Вычтем из этого сумму прямых налогов — 22 млрд. руб., и окажется, что население может почти 9 месяцев не работать, живя за счет накоплений. Во-вторых, с тем, что за весь 1978 г. население купило в государственной и кооперативной торговле товаров на 230 млрд. рублей, значит, накоплений достаточно для почти годового объема всех покупок. И, в-третьих, с тем, что фактические запасы всех потребительских товаров /включая неходовые и даже уцененные/ как в торговле, так и в промышленности составляют 60 млрд. руб., то есть существенно менее трети от всех накоплений. Как видим, деньги тут совсем не маленькие.

Сравним также накопления с численностью населения и попробуем посмотреть, как они распределяются среди различных групп населения.

Общая численность населения — 262 млн. чел., а средняя семья состоит из 3,5 чел. Это значит, что в среднем "на душу" приходится немного больше, чем 750 руб., а на среднюю семью по 2670 руб. Повторяю, в среднем.

Многие думают, что эти средние цифры мало что значат, так как деньги сосредоточены лишь у сравнительно небольшой части населения. В частности, говорят, что основная масса сбережений находится у всякого рода ловчил и преступников, включая партийно-государственных чиновников-взяточников. Это не так. Хотя "тайна вклада охраняется законом", закон же разрешает судебно-следственным органам поинтересоваться вкладами. Люди это знают, поэтому основная часть "нечестных денег" должна быть не в сберкассах, а в кубышках, а в них, повторяю, "только" 60 млрд. руб., причем весьма большая их часть принадлежит сельскому населению /см. ниже/. Правда, есть специальные сберкнижки "на предьявителя", но их сравнительно не так много.

Попробуем грубо оценить, сколько может быть людей с очень большими накоплениями. Допустим, что есть 100 тысяч подпольных миллионеров и еще 200 тысяч "полумиллионеров". Весь наш жизненный опыт говорит, что такого коли-

чества столь богатых людей не может быть, но если мы все же примем это завышенное предположение, то окажется, что общий объем их накоплений составляет "только" 20 млрд. рублей, что никак не изменит ни наши выкладки, ни основанные на них выводы.

Простой факт, что общее количество вкладов составляет более 130 млн., то есть по одному вкладу на каждые две души, включая души младенцев, или даже немного меньше, чем 2 вклада на семью, тоже говорит о широком распространении вкладов среди всего населения. Все это отнюдь не элементарно — есть только что упоминавшиеся вклады "на предьявителя". При "срочных" вкладах открывается отдельный счет на каждый взнос, однако при всем том, совершенно очевидно, что вклады должны быть у подавляющего числа семей.

Укажу также на известный житейский факт — часто откладывают люди со сравнительно небольшим доходом, они осторожнее распоряжаются деньгами.

Многие думают, что накопления сосредоточены в основном в деревне, но и это не так. Разумеется, денег теперь в деревне много, особенно после введения во второй половине 60-х годов гарантированной денежной оплаты труда в колхозах. Но, как мы все знаем и как подтверждается некоторыми моими косвенными подсчетами, в деревне в основном находятся как раз деньги "в кубышках", особенно в Средней Азии. Что же касается накоплений в сберкассах, то из общей их суммы в 131 млрд. руб. на конец 1978 г. 96 млрд. руб. были в городах и лишь 35 млрд. руб. были в деревне.

Не утомляя читателя дальше вычислениями и анализом, просто скажу, что при всей неравномерности уровня жизни в "социалистическом" государстве, денежные накопления сейчас распространены среди основной части населения. Можно уверенно сказать, что хотя бы у 20—30 млн. семей накопления должны быть, примерно, до 2,5 тыс. руб. и больше, а у многих миллионов, скажем, по 1,5—2 тыс. руб., хотя очевидно, что должны быть также многие миллионы семей с минимальными накоплениями, а то и совсем без них. Иначе говоря,

проблема, рассматриваемая здесь — о судьбе денежных накоплений — относится к основной массе советского населения.

Замечу также, что некоторые вообще сомневаются в числах, которые мы рассмотрели, не доверяя ни советской статистике относительно накоплений в сберкассах, ни моим оценкам относительно накоплений в кубышках. Что касается официальных данных, то если бы статистика врал, то скорее в другую сторону — наличие колоссальных накоплений, как мы скоро увидим, создало такие трудности, что властям лучше было бы преуменьшить, а не преувеличить накопления. Да и многие косвенные вычисления в целом вполне подтверждают официальную статистику. Что касается моих оценок, то я их сознательно несколько преуменьшил и, к тому же, во всем нашем анализе основную часть занимают именно накопления в сберкассах.

ПОЧЕМУ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ

Как все это произошло, почему у населения скопились такие громадные средства? Прежде всего — как результат безответственной, экономически неграмотной политики. И в решающей степени — как результат противоестественной экономической системы. Здесь не место все это подробно обсуждать и поэтому ограничусь лишь тем, что укажу на постоянный дефицит советского государственного бюджета. По официальным данным расходы бюджета всегда меньше его доходов, бюджет сводится, так сказать, с прибылью, но это элементарная липа /этому, главным образом, и посвящена моя книга, о которой я говорил вначале/. Но будем рассуждать просто, не залезая в финансовые дебри.

Советские правители прекрасно понимают, что героическая борьба диссидентов волнует в основном небольшие круги интеллигенции, что массы озабочены прежде всего и больше

* Свою точку зрения о стабильности советского режима я уже высказал в статье в № 29 журнала "Время и мы".

всего вполне прозаическими вещами. Да и как же иначе, коли жить столь трудно. Поэтому власти вынуждены создавать хотя бы иллюзию роста жизненного стандарта. А вот это как раз и достигается увеличением денежных или, как говорят экономисты, "номинальных" доходов населения.

Властям приходится также исправлять перекосы в оплате, наиболее вопиющие социальные несправедливости. Приходится хоть понемногу поднимать минимальные размеры пенсий, минимум зарплаты. Пришлось поднять постыдно малую зарплату врачей и учителей, низкую зарплату в торговле и т. д.

Все же главное заключается в том, что единственный способ борьбы с многочисленными и увеличивающимися экономическими трудностями заключается в подъеме производительности труда. Заставить людей работать лучше страхом уже не удастся, не те времена. Поэтому приходится экономически стимулировать лучшую работу, то есть больше платить.

И платят. Средняя зарплата рабочих и служащих выросла с 1960 г. в два раза, и резко возросли денежные доходы колхозников, а общая сумма денежных доходов всего населения возросла в 3 раза. Само по себе это просто прекрасно, но рост заработков не сопровождался соответствующим ростом производства товаров и услуг. В какой-то степени это "компенсировалось" ростом цен, но лишь в какой-то степени. В результате образовались и все время раздвигаются "ножницы" между денежными доходами населения и его возможностями эти доходы истратить, то есть тем количеством товаров и услуг, которое реально существует на рынке и может быть куплено. По моим оценкам "просвет ножниц" составлял в 1960 г. 2 млрд. руб., в 1965 г. — 4, в 1970 — 8, а в 1978 г. уже 15 млрд. руб. Иначе говоря, в 1978 г., например, население получило на 15 млрд. руб. больше, чем оно могло реально истратить. Эти деньги были отложены и вместе с накоплениями за предыдущие годы составили те громадные суммы, которые названы выше.

Надо при всем том сказать, что в целом жизненный уровень несколько рос /что было особенно заметно в 60-е годы/,

но значительно медленнее номинальных денежных доходов. Чуть выше я сказал, что общая сумма всех доходов населения выросла с 1960 г. в 3 раза. Численность населения выросла за это время на 20 процентов. Можно ли тогда заключить, что жизненный уровень возрос в 2,5 раза? Нет! Во-первых, тут сильно сказался рост цен — не приходится объяснять западному читателю, что это значит. Во-вторых, значительная часть дополнительных доходов пошла в накопления, эти деньги не были истрачены на нужное людям, они не подняли их жизненный уровень.

Но, может быть, такие накопления нормальны? Может быть, люди, удовлетворив первоочередные потребности, получили наконец возможность подумать о будущем, отложить толику на старость, на непредвиденные нужды, на грядущие крупные покупки? Что в этом плохого? Когда я рассказываю об этом западным экономистам, они искренне недоумевают. В любой западной стране накоплений у людей намного больше, и никто на это и не думает жаловаться, скорее наоборот. Попробуем разобраться и в этом.

Накопления населения на Западе и в СССР принципиально различны. Дело не только в том, что в странах Запада откладывают на безработицу, образование детей и болезни, что старость обеспечивается прежде всего собственными накоплениями /во всяком случае, это верно для Америки/. Но и в том, что сбережения делаются преимущественно для инвестиций: чтобы купить собственный дом, открыть дело и т. д. Впрочем, даже когда деньги откладываются, например, на старость, их тоже стараются во что-то вложить, инвестировать. Практически каждый, кто может, вкладывает деньги во что-то, становится капиталистом, живем-то мы, слава Богу, в капиталистических странах.

И все же основное даже не в этом. На Западе просто непонятно, как это человек откладывает, потому что... не может израсходовать деньги, физически не может купить нужное ему. Здесь единственная проблема, хотя и весьма нелегкая — деньги! А там как раз наоборот! Помните, как Остап Бендер измучился, стараясь истратить миллион, но так и не сумел

и пытался удрать за границу. В принципе мало что изменилось с тех пор, недаром покупка нужного превратилась в своего рода национальный спорт.

Итак, с одной стороны, в СССР нет инвестиций, с другой — люди часто хотят, да не могут истратить деньги. Поэтому мы можем уверенно утверждать, что основная масса сбережений в СССР вынужденная.

Предвижу возражения. Разве и там не откладывают на старость, на кооперативную квартиру, на автомашину, на каракулевую шубу? Конечно, откладывают, но это не противоречит моему утверждению. Во-первых, общая сумма затрат населения на строительство кооперативов составляет порядка 1,8 млрд. руб. в год, а объем продажи легковых автомашин — 6 млрд. руб. /точные данные не публикуются/. Иначе говоря, сбережения на кооперативы и автомашины должны быть несопоставимо малы по сравнению с их общей суммой. Во-вторых, приведенные только что цифры — это не накопления, а как раз то, что население тратит. Значит, при том, что одни накапливают на эти цели, другие тратят на это же предыдущие накопления. То же самое относится и к пенсиям. Ну, конечно, часть людей откладывает на старость даже в СССР, но другие, выйдя на пенсию, начинают тратить предыдущие сбережения, и таким образом общая сумма всех этих накоплений не должна очень сильно возрастать. В-третьих, далеко не все даже мечтают о покупках каракулевых шуб и автомашин. А, в-четвертых, я и не утверждаю, что все без исключения денежные накопления населения вынужденные, речь идет лишь об их части, хотя и основной. И это не только мое мнение. В ведущем советском экономическом журнале недавно было сказано, что "по мнению ряда экономистов" 75 процентов всех денежных накоплений населения представляют собой "неудовлетворенный спрос"*. Вполне согласен с "некоторыми экономистами".

* "Вопросы экономики", 1978, №10, стр. 75.

ЗНАЧЕНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ

Что практически означают вот такие сбережения? Казалось бы, ничего плохого. Деньги у населения есть, пить-есть люди не просят, а сгодиться сбережения могут всегда, да и как-то приятнее жить на свете с некоей кругленькой суммой. Все было бы так, если бы накопления эти не были вынужденными, если бы они были сделаны по доброй воле, а не по злой необходимости.

Может быть, и не сами накопления, но их неизбежные экономические последствия приводят к сильному, причем возрастающему недовольству населения и создают к тому же неразрешимые проблемы для властей.

Люди озлобляются прежде всего из-за того, что вынуждены откладывать, не удовлетворив потребности. Наличие накоплений оказывает чудовищное давление на рынок, деформирует его. Вот смотрите, цены на золото, драгоценности, мех систематически растут, и чем больше они растут....тем больше очереди за ними. Понятно почему — чем больше цена, тем большую ценность представляет вещь, с помощью которой пытаются сохранить деньги. Но люди не могут быть этим довольны — ни те, кто хотят употребить эти вещи по прямому назначению и не могут из-за растущих цен, ни те, кому приходится добывать их, чтобы "вложить деньги".

Почему теперь практически невозможно купить мало-мальски приличную книгу? Издают их не меньше, читают не больше. Сказывается, конечно, и мода, но в очень многих случаях и покупки книг стали использовать как форму накопления. И чем дороже будут от этого становиться книги, тем больше их будут покупать. Любители чтения не будут от этого счастливы. Или набивший уже оскомину пример с мясом, которое теперь в Москве становится все труднее достать. Однако несмотря на сильное вздорожание мяса на рынках и фактический рост цен в магазинах /где теперь все продается высшим сортом/, потребность в нем выросла еще сильнее — у людей есть на это деньги, они могут себе его купить.

Разумеется, само по себе это прекрасно, когда люди покупают книги /еще лучше, когда они их читают/ и едят мясо. Но плохо, когда /как мы видим из этих примеров/ резко нарушены соотношения между заработками, деньгами, находящимися в распоряжении населения, и количеством товаров. Плохо не только в прямом экономическом смысле, плохо и тем, что это неизбежно ведет к нарастающему раздражению населения.

Получается порочный круг. Накопления образуются потому, что трудно купить нужное. А с ростом накоплений делать такие покупки становится еще труднее: очереди все длиннее, магазинные полки все пустыннее. Недаром говорят, что очередь — это социалистический путь к прилавку.

Люди недовольны и тем, что из продажи практически полностью исчезли дешевые товары и тем, что их накопления "дешевеют". Действительно, рост цен очевиден всем, а процент на вклады в сберкассы очень низок — 2—3 процента.

Что касается властей, то, конечно, они обеспокоены нарастающим недовольством населения, но далеко не только этим. Как я уже говорил, пытаюсь исправить некоторые социальные несправедливости, стимулировать подъем производительности труда, власти резко увеличили денежные доходы населения, но проблемы-то в основном остались, если не стали еще более трудными. Как продолжать выравнивание оплаты труда в разных отраслях и районах? Как привлечь людей в Сибирь, сырьевые и энергетические ресурсы которой приобретают все большую роль? Да и как, в конце концов, поднять сельское хозяйство — недавние события показали, что на импорт зерна особенно рассчитывать не приходится. Для всего этого и для многих других вещей надо опять поднимать зарплату, то есть опять раздвигать наши "ножницы".

И в этом, по-видимому, суть всей проблемы — для решения многих социальных задач, для настоятельно необходимого роста производительности труда совершенно необходимо поднимать денежные доходы населения, но тогда деньги окончательно потеряют ценность. Впрочем, уже и сейчас отношение людей к деньгам сильно изменилось. Не скажешь, что люди

вообще потеряли интерес к заработку, такого пока нет. Но они не хотят работать дольше, лучше, добросовестнее, производительнее за большую оплату.

Вот пример, который по-моему интересен и сам по себе и хорошо иллюстрирует то, о чем только что шла речь. К середине 60-х годов стало ясно, что надо как-то круто менять экономическую политику в сельском хозяйстве. Колхозники не хотели работать в колхозах, так как им почти ничего не платили, а платили им мизерно потому, что они не работали. Надо было как-то выходить из этого порочного круга. Заставлять лучше работать не удавалось, уговоры не помогали. Тогда решили /на Пленуме ЦК КПСС в марте 1965 г./ ввести в колхозах гарантированную денежную оплату труда, то есть с н а ч а л а заплатить, показать, что за хорошую работу колхозники хорошо получают, и тем самым стимулировать их к отличной работе. Так и сделали, для чего дали колхозам большие кредиты. Каковы же результаты?

Вообще говоря, колхозники начали работать получше, сейчас в целом страна производит несколько больше сельскохозяйственных продуктов при заметном сокращении сельского населения. Был также сделан серьезный шаг в разрешении важнейшей социальной проблемы — поднять постыдно низкий уровень жизни в деревне. Однако далеко не все получилось именно так, как рассчитывали, и это имеет самое непосредственное отношение к нашей теме. Дело в том, что для многих колхозников некоторый стабильный денежный доход оказался достаточным. Имея его, кормясь в основном за счет собственного подсобного хозяйства, обзаведясь самогонным аппаратом, купив некоторую одежду, мотоцикл, телевизор и стиральную машину, колхозник не хочет очень сильно гнуть спину для большего заработка, ему более или менее хватает того, что он уже имеет. Еще один результат заключался в том, что колхозники стали меньше работать в личных подсобных хозяйствах. Раньше они делали это для продажи на рынках, такая продажа была по сути единственным источником денег для них. Теперь же, получая деньги в колхозе, многие решили перестать гнуть спину, вставать на заре, чтобы покормить скотину и возиться в навозе.

При всем том, если бы у колхозника была возможность лишние деньги истратить целесообразно, купить нечто нужное, нравящееся ему, он бы, может быть, работал больше и лучше. Экономисты используют для характеристики подобных вещей термин "культура потребления". Так или иначе именно недостаток товаров, товарный голод в стране внес решающий вклад в описанную ситуацию в деревне.

Поэтому и в деревне и в городе деньги еще держат людей на работе, но уже мало стимулируют рост производительности. А другого стимула нет.

Еще одна и очень серьезная проблема — положение семей с низким доходом, особенно тех, кому нечего украсть. Именно эти семьи страдают особенно сильно из-за исчезновения с рынка дешевых товаров, из-за резкого роста цен на рынках и в государственной торговле. Не думаю, что в стране есть голодающие. Но буквально на грани, а то и за гранью нищеты живут миллионы. И по мере роста накоплений у основной массы населения положение этих людей ухудшается.

Итак, серьезных последствий громадных накоплений, образовавшихся у населения, более чем достаточно. Что происходит в таких обстоятельствах в нормальной экономике? Когда денег становится слишком много, цены лезут вверх и баланс покупательной способности населения и наличия товаров восстанавливается — инфляция делает свое черное, но в некотором смысле справедливое дело. Возможно, некоторые читатели, в особенности те, кто страдают в Израиле от бешеной инфляции, с негодованием отвергнут мои слова о "справедливости инфляции", но, увы, это так.

Могут ли советские власти поправить положение, подняв цены? В общем, да. Собственно цены и так растут и будут расти дальше. Но в частности здесь есть по крайней мере три "но". Первое — цены надо поднять резко, причем на товары массового потребления. Население приняло более или менее спокойно рост цен на кофе, бензин, золото, рестораны, даже водку. Простой человек кофе не пьет, в ресторан не ходит, машины у него нет, а водку он заменил "бормотухой" и са-

могоном. Но вот когда поднимутся цены на сахар и хлеб, молоко и мясо, метро и курево, эффект будет совсем другой

Второе — легко подсчитать, что "сдвинуть ножницы" можно, подняв все цены в целом на 7—8 процентов. Однако этого недостаточно, накопления при этом только перестанут расти /при прочих равных условиях/, но не уменьшатся. Чтобы только начать уменьшать накопления, надо поднять цены процентов на 15, но и в этом случае пройдет лет 10, пока накопления уменьшатся до примерно 50 млрд. руб. /опять-таки "при прочих равных условиях", которые очень трудно обеспечить/. А пока что накопления будут давить на рынок, отвращать людей от желания работать. Значит, для радикального исправления ситуации цены надо поднять намного более резко.

И третье. Любой подъем цен на эти товары слишком сильно ударит по беднейшим, их положение станет отчаянным.

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Итак, положение достаточно серьезно, не видно путей исправления ситуации и совершенно очевидно, что единственный выход для властей в том, чтобы забрать у населения их накопления.

В начале 70-х годов в Москве циркулировали упорные слухи о предстоящей денежной реформе. Настолько упорные, что "Правда" напечатала успокаивающий фельетон. Мы не имеем прямых свидетельств, но можно уверенно утверждать, что слухи возникли потому, что и на самом деле где-то наверняка обсуждалось такое предложение. И это при том, что накопления тогда составляли не 200 млрд. руб., а "всего" 70.

Почему власти тогда ничего не предприняли? Еще свежи были в памяти обстоятельства, при которых пал Гомулка. Есть основания полагать, что Брежнев тогда еще окончательно не утвердился лично, и ему были не с руки слишком резкие политические шаги. Трудно было найти и подходящий политический предлог — сваливать на Хрущева было поздно. Нельзя

было свалить все и на усложнение международной обстановки, как раз тогда мистер Киссинджер начал во всю детантировать. Кстати, появилось много надежд, что этот самый дегант поможет получить от Запада много потребительских юваров /в дополнение к товарам иного свойства/ и оборудования для их производства. Правители тогда еще надеялись, что в результате больших капиталовложений сельское хозяйство будет работать много лучше. В своих лекциях в Москве я тогда выступал с такой формулой — экономически денежная реформа того или иного вида необходима, но политически невозможна.

Затем Брежнев окончательно утвердился, начался его культ, и режим начал жить по принципу — "прожили день и ладно, авось и дальше пронесет". Во всяком случае, режим не предпринимает ничего важного в экономической области, а денежная реформа — это очень, очень важный шаг.

То, что реформа необходима, ясно не только нам. Довольно много намеков на серьезность финансовой ситуации есть в специальной печати, в стране снова все более упорно циркулируют разнообразные слухи. Совсем не случайно /такие вещи никогда не бывают случайными/ в "Литературке" было недавно сказано: "Разговоры среди отдельных граждан о якобы предстоящей денежной реформе в нашей стране лишены каких бы то ни было оснований. Являются вымышленными и слухи о девальвации советских денежных знаков*. В этой цитате несколько настораживают слова о "вымышленности слухов". Если здесь не элементарная литературная безграмотность, то, может быть, нам таким образом говорят, что это на самом деле не слухи, а правда.

В целом, я бы скорее поверил этому заявлению в том смысле, что теперешнее руководство, по-видимому, ничего серьезного не предпримет. Однако как только власть переменится, проблема немедленно встанет во весь рост.

*Литературная газета за 5 декабря 1979 г., стр. 11. Приведенные слова даны газетой как цитата из "высказываний в печати" первого заместителя председателя правления Госбанка СССР Н. Пчелина. Но почему-то не сказано, где именно опубликовано это высказывание.

Гаданиями о том, каким именно будет очередное советское руководство и какую именно политическую линию оно изберет, печаль /понятно, что не советская/ переполнена, и я воздержусь от них. Но две вещи несомненны. Первая — власти должны будут немедленно что-то делать с экономикой, так жить дальше нельзя. Вторая — власти будут всячески пытаться снискать популярность какими-то подачами, причем именно экономического свойства. Не будь таких громадных накоплений, можно было бы ввести мощные системы экономического стимулирования, подняв для этого зарплату, и таким образом несколько улучшить производство. Но это значит еще более "раздвинуть ножницы"! О снижении цен, чтобы убожить население, тоже не приходится говорить. Получить больше товаров за границей? Внешний долг приблизился к 20 млрд. долларов /не рублей!/ и не видно, как его-то отдать. А тут еще трудности из-за вторжения в Афганистан.

Поэтому я считаю весьма вероятным /я даже не сомневаюсь, что именно так и будет, но не могу назвать точные сроки/, что вскоре после воцарения в Кремле нового вождя граждане услышат вот что:

"Дорогие товарищи! Несмотря на колоссальные успехи и победы, клика Брежнева и примкнувшего к нему Косыгина довела страну до трудного экономического положения. Особенно тяжелый урон нашей экономике нанесли сионисты. Но Центральный Комитет разобрался с положением и ведет нашу страну к новым замечательным победам и свершениям. Центральный Комитет решил снизить немедленно цены на кофе на 5 процентов, на швейные иголки на 20 процентов, на пионерские галстуки и дирижерские палочки на 50 процентов, а также на 1 процент на будильники. От этого население выиграет неисчислимое количество триллионов рублей и будет жить еще лучше, еще веселее".

И далее: "У некоторой части населения образовались накопления. Главным образом у сионистов. Позор им во веки веков. Центральный Комитет получил письма трудящихся, в том числе от рабочих Сормовского завода, которые требуют лишить нечестных людей того, что они нажили своими махинациями и преступлениями. Да, дорогие товарищи, у чест-

ных людей много денег быть не может. И не должно быть. Прямо сейчас каждый может, предъявив паспорт, обменять червонец на новые деньги, а старые деньги отменяются. Мы понимаем, что некоторые честные люди от этого немножко потеряют, но это, дорогие товарищи, последняя жертва. И вообще вперед, давайте и дальше бороться с сионизмом и строить перезрелый социализм".

Не поручусь, что это будет именно так. Может быть, призовут к строительству социализма не перезрелого, а "молочно-восковой спелости". Может, не будут так сильно упираться на сионистов /хотя скорее всего будут даже сильнее/. Не очень ясно, какую именно политическую позицию займут по отношению к Брежневу. Словом, неясного тут очень много. Но то, что власти лишат население сбережений, в этом сомневаться никак не приходится, нет у властей другого выхода.

Возможны при этом самые разные варианты. Скажем, по опыту денежной реформы 1947 г. обменяют в хорошем соотношении первые 20—30 руб. от каждого вклада в сберкассе. Возможно, заморозят все вклады в сберкассах лет на 30, что, по-моему, наиболее вероятно. Может быть, одновременно с ликвидацией накоплений изменят структуру цен и несколько поднимут зарплату — недавно нечто подобное проделали в Болгарии. Может быть, изобретут сложную формулу обмена старых денег на новые с учетом количества иждивенцев в семье и заработка. А может, вообще никакого обмена старых денег на новые не будет, введут новые деньги, заморозят все вклады и на этом поставят точку.

Трудно уверенно говорить о каком-то том или ином варианте, трудно также называть более или менее точные сроки, но, повторяю, поскольку ликвидация накоплений абсолютно необходима экономически, власти это обязательно сделают при первой же политической возможности.

ПАНИКА?!

Если бы эта статья предназначалась для советских граждан, я бы посоветовал им немедленно избавиться от всех накопле-

ний во всех их формах и даже стараться жить в долг. Некоторые в СССР надеются, что при предстоящей реформе выгадают /меньше потеряют/ те, кто держит деньги в сберкассе. Почему? А потому что так было во время реформы 1947 г. Это, конечно, иллюзия. Дело в том, что тогда было прямо противоположное соотношение — на руках у населения, включая кубышки, было намного больше денег, чем в сберкассах. Да и сумма всех накоплений в сберкассах была неизмеримо меньше, чем сейчас — порядка 1—2 млрд. руб. в современных деньгах. А сейчас, еще раз напомню, в сберкассах более 140 млрд. руб. Как я уже выше сказал, наиболее вероятно, что как раз сбережения в сберкассах будут заморожены. Такую меру несколько легче обосновать — мы не забираем ваши деньги насовсем, а лишь временно, в конце концов вы их получите назад. Кстати сказать, нечто подобное было сделано во время войны. Так что нечего советским гражданам надеяться на сберкассы, не поможет.

Вряд ли также стоит говорить об облигациях трехпроцентного займа, хотя нельзя исключать известную вероятность какого-то фокуса с ними.

Итак, от денег надо избавляться, не стоит их иметь ни дома, ни в сберкассе, ни в облигациях. Куда же их девать? Не берусь отвечать, покупать-то в общем нечего.

Я уже упоминал о слухах в начале 70-х годов. Недавно слухи возобновились и стали даже более упорными. Очень густо говорят о денежной реформе после Олимпиады. Вообще с Олимпиадой слухи связывают множество самых разнообразных событий и, как правило, без оснований, но дело, в конце концов, не в Олимпиаде.

Теперь давайте зададимся вопросом, что может произойти, если "Голос Америки" или Би-би-си передадут все это, что известно теперь читателю, советским радиослушателям? Эти радиостанции слушают в Советском Союзе многие миллионы людей и слушают внимательнее, чем советское радио. И если бы они убедительно, спокойно, с цифрами и фактами в руках рассказали слушателям о том, что им неминуемо грозит, слушатели обязательно бы поверили и кинулись бы

немедленно в сберкассы. По примерным оценкам сейчас в денежном обращении /без учета денег в кубышках/ циркулируют не более 20—25 млрд. руб. Иначе говоря, в Госбанке нет даже приблизительно близкого к объему вкладов количества денег, так что закрывай сберкассы или нет, выдавать людям деньги не придется. Напечатать же 100 с лишком миллиардов рублей не быстро, не просто и не разрешит проблемы, — получив деньги, люди захотят их немедленно истратить, сами по себе деньги им не нужны.

Но и истратить не легче. Понятно, что люди немедленно раскупят все, что можно — сахар и спички, ночные горшки и сигареты, пряники и цветные телевизоры. Но ведь все это не поможет. Напомню, что на руках у населения уже имеется как раз такая сумма /60 млрд. руб./, которая равна запасам всех товаров на всех складах, причем это лишь накопления, добавок к тому, что население имеет и расходует на каждодневные надобности.

Итак, сберкассы закроются, магазинные полки совершенно опустеют, станет невозможно купить то, что нужно повседневно, то, что не запасешь. Нетрудно представить себе настроение людей, взрыв массового недовольства, предстоящую панику.

Во всем этом есть несколько вещей, которые стоит обсудить. Прежде всего, действительно ли так уж страшна такая паника, сумеют ли советские власти с ней совладать? Вопрос очень непростой. Мы знаем, что власти полностью, безраздельно контролируют положение в стране — в их распоряжении есть много разных средств. Начать с того, что мгновенно будет приведен в действие мощный и хорошо отлаженный аппарат психологического воздействия — соберут многочисленные собрания, будут разъяснять и объяснять, уговаривать, обещать, кого-то для примера накажут. Одновременно может быть отобюрокрачена милиция и даже войсковые части, чтобы поддержать порядок. И, конечно, в этом случае снова скажется главное преимущество советской власти — ей не противостоит в стране никакая даже минимально организованная сила, но вместе с тем, не забудем, что речь будет идти

об очень серьезном деле, о том, что относится практически ко всем, причем это не абстрактные вещи, это самое, пожалуй, чувствительное место. И не забудем также, что царский режим пал в момент, когда никто и не думал, что он слаб, но вот не подвезли в Петроград несколько дней хлеб, и этого оказалось достаточно.

Я воздержусь от прогноза, что именно может произойти в стране в случае такой паники, однако то, что власти будут поставлены в крайне трудное положение, это совершенно ясно.

Далее, можем ли мы себе морально позволить обсуждать такие вещи — взывать к толпе, подстрекать чернь... Ведь исключать вероятность кровавых событий в таком случае не приходится. Очень трудный вопрос, и я долго думал над ним. Все же, в целом, мне кажется, что нравственная позиция должна определяться не только нашим отношением к режиму, но и нашей общеморальной позицией. Разумеется, подстрекательство черни нехорошо. Но разве лучше, твердо зная, что вот-вот советские власти ограбят собственное население, не говорить об этом? Скрывать это от населения?! По своему уставу западные радиостанции не должны вмешиваться во внутренние дела СССР. Не будем с этим спорить, несмотря даже на то, что советские радиостанции это правило и не думают соблюдать /мы знаем, например, об их передачах на Иран/. Однако задача радиостанций, вещающих на Советский Союз, — информировать слушателей о событиях в мире, так почему же не проинформировать их об этом событии, которое несомненно грянет? В спокойном тоне, объективно, приведя аргументы "за" и "против". Не сказать им об этом — значит солгать, недаром есть такое понятие "ложь умолчанием".

Я назвал свою статью "Угроза". Угроза кому? Прежде всего советскому населению — ему угрожает грабеж. Но есть угроза и для властей — а что, если население узнает об этом не в тот момент, который удобен правителям?! И тут мы подошли к последнему вопросу в нашей статье.

ЧТО ДОЛЖНА И ЧТО МОЖЕТ СОВЕТОЛОГИЯ?

Я уже выше, в самом начале статьи, сказал, что мое исследование мог бы сделать и другой. Почему же оно до сих пор не было сделано? Мало того, почему, закончив исследование уже пару лет назад, я до самого последнего времени не мог опубликовать его результаты в свободной западной печати, а мою статью в "Soviet Studies" отвергли до того несколько американских советологических журналов?

Весьма серьезная и неожиданная причина заключается в том, что многие "советологи" совершенно искренне не понимают, о чем именно идет речь. Они воспитаны на современной западной экономической теории, которая — увы, это так — не относится к советской экономике. Не будем здесь обсуждать вопрос о том, как именно эта замечательная теория помогает западным странам справиться с собственной экономикой — вопрос этот не простой. Однако то, что на основе этой теории просто нельзя понять, что именно происходит с советской экономикой, совершенно очевидно.

Одна ученая дама, профессор университета, опубликовала несколько статей о накоплениях советского населения. Анализируя официальные данные, она заключила, что ничего особенного не происходит. Почему? А потому, что процент накоплений по отношению к годовому доходу в СССР даже меньший, чем в Америке. Вот как все просто. И невдомек этой даме, что советское население не делает инвестиций, что советские накопления надо изучать не по этому показателю, а по отношению полной, накопленной за все предыдущие годы суммы к годовому доходу.

Не могу удержаться также от того, чтобы не рассказать уже о совершенно анекдотической вещи. Эта же дама опубликовала работу, в которой объясняет, почему именно накопления так резко возросли во второй половине 60-х годов. Оказывается, что после реформы 1965 г. /дама называет ее "косыгинской"/ население узнало о намерении властей производить больше потребительских товаров и решило поднакопить деньги, чтобы эти товары затем купить. В таких случаях

говорят, что комментарии излишни. Вместо комментария просто замечу, что в своих работах дама вообще не цитирует литературу на русском языке. Действительно, зачем? Такие выводы можно делать /и публиковать!/ и без обращения к источникам.

Вторая причина в том, что большинство советологов относятся ко всему, что мы, недавние эмигранты, говорим, мягко говоря, недоверчиво. Вообще это тема отдельная, и наверное, мне придется писать о ней, а сейчас очень коротко. Как мы все знаем, советские власти препятствуют эмиграции тех, кто имел доступ к "государственным секретам". Но секретами этими на Западе, хотите верьте, хотите нет, не интересуются. Как иначе объяснить такой поразительный факт, что в Америке никто, повторяю, никто из бывших советских социологов, экономистов, историков, других специалистов в схожих областях, не имеет более или менее постоянной работы именно в советологии, то есть как раз там, где, казалось бы, и могли быть прежде всего использованы их профессиональные знания, не говоря уже о пресловутых "секретах". Или, что в таких американских советологических журналах как "Проблемы коммунизма", "Славик Ревью", "Комператив Экономикс" не появилось буквально ни одной строчки, подписанной недавним эмигрантом.

Одно из самых поразительных для меня впечатлений от жизни в Америке было то, что меня очень редко спрашивают профессиональные советологи о советской экономике. Помните, в "Одноэтажной Америке" Ильф и Петров писали, что американцы вообще не любопытны. Может быть, тогда это и было так, но сейчас мы миллионы раз сталкиваемся с множеством разнообразных вопросов — со стороны кого угодно. Но вот советологи проявляют поразительное нелюбопытство.

Предоставлю читателю самому поразмышлять насчет объяснений этого феномена, а сейчас еще один момент, который частично /только частично/ объясняет отношение советологов к нам вообще и к тому, о чем написано в этой статье. Один из стереотипов советской пропаганды заключается в том, что именно советологи являются наиболее рьяны-

ми поборниками холодной войны. Если бы это было так! Парадоксально, но именно среди советологов есть много людей с весьма просоветскими позициями или же /таких больше/ горячих сторонников детанта, нежных отношений с Москвой. К счастью, далеко не все советологи именно такие, но есть среди них немало таких, которые считают, что чем меньше напряжения, чем больше взаимопонимания, чем меньше разъединяющего и больше объединяющего, тем лучше. Для мира, для Запада, да и для них самих.

Поэтому работу, которая показывала реальные и при том большие трудности советской экономики, им было просто трудно воспринять, и они легко объяснили самим себе выводы этой работы тенденциозностью недавнего эмигранта. Поэтому-то вопрос, который поставил этот эмигрант — о возможности "насолить" советскому режиму, о необходимости рассказать советским людям о нависшей над ними реальной угрозе, они восприняли чуть ли не с брезгливостью.

Сколько же еще понадобится Афганистанов, чтобы им хоть чему-то научиться? Впрочем, не будет ли этот урок слишком поздним?

Лидия ВОРОНИНА

МЫ ПОТЕРЯЛИ СЕБЯ В ЖИЗНИ...

Как-то, лет шесть-семь назад, в Институте информации в Москве, войдя в комнату, где мы все, сотрудники отдела философии, работали, я увидела тетрадный листок, прикрепленный к стенке кнопками над столом "самого умного" из нас. Удивилась: не в привычках этого человека было проявлять в открытую — даже среди нас, своих — свое отношение к чему-либо. Подумала: наверное, уж очень к месту сказанное или, на худой конец, уж больно правильное. Сумело "пробить на эмоцию" даже библиографа с тридцатилетним стажем, который, читая по шесть часов в день на двенадцати языках, давно перестал реагировать на самые потрясающе-очевидные формулировки самых неочевидных жизненных истин. Читаю:

We lost ourselves in living
 We lost our living in wisdom
 We lost our wisdom in knowledge
 We lost our knowledge in information
 Where are we know?

Мы потеряли себя в жизни
 Мы потеряли нашу жизнь в мудрости
 Мы потеряли нашу мудрость в знании
 Мы потеряли наше знание в информации —
 Где же мы теперь?

— Вот это надо выбить на фронтоне нашего института... А то хотя бы какую-то латинскую цитату про всемогущество знания... — заключил наш старейший библиограф.

Конечно, я восприняла тогда эти слова не как еще одну жалобу по поводу так называемого информационного взрыва.

Скорее строки эти звучали для меня парафразой библейского мировоззренческого сожаления о врожденной глупости человечества, которого, если и сама жизнь и мудрость ничему не смогли научить в свое время, то не поможет теперь и знание, и тем более — информация. Но если факт этого изначального человеческого увечья весьма огорчал древних интеллектуалов, доводя до меланхолии и отчаяния, то современных интеллектуалов он нимало не расстраивает, а даже наоборот, радует.

Недавно я опять вспомнила этого библиографа, тетрадный листок и свои ассоциации, но совсем в другом контексте. Один из принципиальных советских диссидентов, чудом спасшийся из лагеря, где отбывал свой третий срок, жаловался мне на американские газеты: они такие толстые... читать нельзя... слишком много информации... мешает восприятию самой информации, которая, кстати, не особенно и нужна читателю — отрицательно действует на его психическое здоровье — инфляция, политическая коррупция, преступления, идиотская реклама.

Человек, всю жизнь боровшийся против лживости советских газет, за свободную и объективную информацию, говорил сейчас, когда получил возможность читать свободную прессу, языком инструктора райкома партии. По его логике получалось, советское правительство, ограничивая и выбирая "нужную" информацию для печатания, на самом деле, едва ли не проявляет гуманную заботу о советских людях, спаса-

ет их от отрицательных эмоций, продуманно планирует дозы информации, чтобы предотвратить несварение или отравление от полученных сведений. Короче, контролирует, чтобы сделать людей счастливыми.

Выходило, что жизненная мудрость, известная уже в Библии: чем меньше знаешь о жизни, тем жизнь спокойнее... — рефлексии всегда все разъедают и отравляют — руководит советскими издателями и редакторами. Это раз. Ну, а второе обстоятельство в пользу ограничения информации, которое вполне разумно учли идеологические работники в Советском Союзе,—это ловушка отчуждения знания в ситуации информационного взрыва: мы потеряли не только знание в обилии информации, но и мудрость, и жизнь, и себя вместе со знанием. Сведений больше, чем голов, валом валят, отовсюду, множатся с колоссальной скоростью, быстрее тараканов... Взрывная ситуация... Человек, во благо которого все и делается в социалистическом государстве, вдруг становится рабом, да еще чего? — того, что сам создал — знания. Решительно нельзя допустить, чтобы советский человек попал в эту ловушку, — волнуется инструктор горкома по идеологии.

Вряд ли можно предположить, чтобы такой инструктор задал себе вопросы, подобные тем, что я сейчас собираюсь сформулировать, но почему бы не представить себе инструктора со способностью суждения, ведь, в конце концов, многие из них кончали тот же философский факультет МГУ, сдавали экзамены...

Может быть, чтобы помочь людям обрести ощущение подлинности и полноты жизни и чтобы помочь знанию исполнять свои функции, надо контролировать знание? Другими словами:

О г р а н и ч е н и е информации необходимо хотя бы для того, чтобы снизить число психических заболеваний. Верно?

Четко к а н а л и з и р о в а т ь информацию /это — в газету, это — в кино, это — для студентов, это — для партийных работников, это — только оптом, а это — только в розницу/.

необходимо, чтобы повысить коэффициент ее потребляемости и тем самым уровень качества. Верно?

О п р е д е л е н и е направления научных исследований /не изобретать бомб, даешь кукурузу, установить материалистическую тенденцию/ избавит ученых от мучительных раздумий над странностью полученных ими в "независимом опыте" результатов и от моральной ответственности за них в случае, если возможно какое-либо "неморальное" их применение. Верно?

Р а з р а б о т к а принципов систематизации информации и ее хранения /например, материализм-идеализм, революционер-реакционер, буржуазный-социалистический/ поможет быстро сориентироваться в тыще работ, написанных на какую-либо тему. Время — деньги, верно?

Я хотела бы показать, отвечая на эти вопросы идеологического блюстителя гуманизма, что, на самом деле, все перечисленные "меры" приводят к еще более глубокому и, по-видимому, неизлечимому вообще, состоянию отчуждения знания — к духовному экологическому кризису, т. е. такому положению вещей, когда результаты знания — продукты духовного производства — выпадают из следующей стадии этого процесса, они не используются, не потребляются, т.е. не входят в дальнейший духовный "обмен веществ", затовариваются.

От идеологического контроля над знанием и информацией страдает не только реальность, которая изучается, она фальсифицируется, если представлена хоть чуть-чуть тенденциозно. Передвиньте чуть-чуть акценты в описании литературного произведения, исторического события, экономических показателей, случившегося вчера землетрясения, визита кого-нибудь куда-нибудь — и вы получите неадекватную, однобокую картину. Люди пользуются этим везде, поэтому, наверное, хорошо изучили это явление как таковое и могут, до некоторой степени, им управлять: нейтрализовать идеологию, отсеять, выпарить... в зависимости от поставленных целей. Однако от идеологического контроля страдает само знание, оно перестает использоваться в качестве знания. Идеологические работники — даже они! — предпочитают

/потому что им так велят другие, более ответственные идеологические работники/ потреблять и цитировать иностранные источники /переводить они нанимают более квалифицированных, но менее ответственных идеологических работников/. Хоть враждебно, но хоть что-то, живое что-то, а не мертвечина отечественных публикаций, которой не только не накормить читателя, но даже не пропихнуть в диссертации — ученому совету, воспитанному на мертвечине, хочется свежего. Так и провисают полки под грузом миллиона книг, которые никто не читает, над которыми никто не думает, которые никто не цитирует. И их все больше и больше, как старых полиэтиленовых пакетов, которые тоже не поддаются расщеплению и поэтому составляют явную угрозу природному балансу, круговороту веществ в природе.

Если и будут представлять какую-либо ценность образцы гуманитарного знания в Советском Союзе для будущих поколений ученых, то ценность эта будет скорее фактологического порядка — это то, что само по себе требует анализа, а не то, что помогает анализировать. Да что говорить о будущем, когда сейчас американские и западные специалисты по советской экономике или литературе, скрупулезно следящие за всеми новинками, усердно читающие все публикации, в первую очередь, получают знание не о том, как работает советская экономика или как пишет какой-либо писатель, а о том, как работает советская идеология, до чего она может довести и экономику и науку о ней, или разрушить крестьянский мир, а потом преобразить его в рассказах и поэмах о трудовом крестьянстве.

Как известно, история быстро и легко расправляется с плохими книжками: она их забывает, а потом они и сами исчезают. Случись пожар в библиотеке, спасти сначала будут Пушкина, а до Наровчатова /поймала себя на мысли, что даже я, почти его современник, не знаю точно, как писать его фамилию Наров... или Норов/ и руки не дойдут — сгорит, пустая книжка. Но как уничтожить пустоту в головах и душах? Кто-то подсчитал, сколько квадратных километров бумаги использует Советский Союз на идеологию

специально. Если прибавить к этим особым тысячам километров еще десятки тысяч рядовой идеологически обработанной печатной продукции — море пустоты и мертвечины — получится чуть не миллион квадратных километров. Объемы измеряются величинами кубическими, объемы пустоты — тоже. Космической пустоты нет, говорит современная физика; есть — в головах миллионного счастливого советского народа, космическая, абсолютная, духовная пустота, — говорю я. Это и называется духовным кризисом.

Задача создания мертворожденного, не утилизируемого знания — это высшая задача идеологизированной социальной системы. Вот почему на всех этапах производства такого "вроде-бы-знания": на этапах получения, хранения, применения, передачи — точнее, "вроде-бы-получения", "вроде-бы-хранения", "вроде-бы-применения", "вроде-бы-передачи" — существуют специальные механизмы, убивающие знание, т. е. порождающие ложь. Наверное, даже не стоит приводить всем известные примеры. Согласно каталогам советских библиотек, сколько /кто может подсчитать?/ не было, не жило, не писало, хотя и были, и жили, и писали? Ну, а сколько писали что-то, а чего-то никогда не писали? А. Платонов, скажем, никогда книжки, которая называется "Чевенгур", не писал. Любой информационный советский справочник подтвердит это. Ну, а программы в школах и институтах, тематика "научных" работ — лучшие гиды к истории того, чего не было. Газеты же любопытны только для профессиональных герменевтиков, людей, владеющих искусством интерпретации и находящих особое удовольствие в получении систематического подтверждения установленного ими же самими закона советской прессы: информируют читателя о случившемся очень изысканным способом — прекращают печатать вообще какие-либо сведения об этом. Молчание — тоже способ выражения, учат начинающих артистов.

Очень часто думают, что идеологические ограничители, сформулированные на закрытых заседаниях ЦК, приводятся в действие только одним советским учреждением — Главлитом, всесоюзным цензором. В действительности же, как бы

ни было велико число профессиональных цензоров, как бы ни высока была их подготовка и какой бы разветвленной ни была сама цензорская сеть, тотальный контроль над духовным производством, т. е. превращение его в антидуховное, не в силах осуществить одни "специально на то отведенные" люди. Каждый руководитель группы, начальник, подначальник, руководитель сектора, профессор, учитель, директор школы — с разной степенью искренности и осознанности, готовности и жертвенности — помогают Главлиту. Кооперация эта ярко описана Солженицыным в "Образованщине"*.

В самом деле, выполнять указания Главлита не значит подчиняться приказам, изданным более высоко стоящим государственным учреждением и спущенным вниз, в нижестоящие учреждения. Главлит не издает приказов. По-видимому, это одно из немногих, если не единственное советское учреждение, которое устно регулирует очень вежливо. Проклятия сыпят старшие редакторы на младших, убеждают авторов. Но чиновники Главлита тихо говорят, вкрадчиво, как сказал бы писатель, нежно скользя по рукописи глазом от одной бледной галочки до другой, которые они поставили карандашом, когда читали, и которые очень легко стереть ластиком тут же, сразу же после того, как "укажут на ошибку" в очень деликатных выражениях: "Я бы позволил себе указать на неточность... Я бы посоветовал вам еще раз продумать... вот здесь, вот в этом месте. Видите, где я стираю ластиком?"

Преступники, даже самые искусные, оставляют следы.

Советская цензура абсолютно анонимна. Никто не может уличить ее в преступлении перед знанием. Ни один будущий

* Но сейчас нас интересует не моральная сторона такой кооперации, а ее влияние на качество и статус знания в советской социальной системе. "Внутренний цензор", который сидит в каждом из ответственных за что-либо, — самое сильное и самое дешевое из всех видов идеологического оружия, созданного человечеством. Не требует расходов на бумагу — самому себе приказы не пишут, а помещения не надо, потому что такой чиновник идеальный, места не занимает. Но если работа тихого, но настойчивого внутреннего голоса нигде не документируется носителем этого голоса, то кто о ней знает, кроме его самого? Похоже, что и деятельность Главлита сконструирована по типу "внутреннего цензора", а не наоборот.

исследователь не найдет в архивах криминальной документации с подписями, датами, печатями, свидетельствующей о том, что, например, Пятигорского Александра Моисеевича, родившегося в таком-то году, в таком-то месте, считать с такого-то числа, месяца и года /дата подачи документов на эмиграцию/ вымершим для советской буддологии, впредь не ссылаться и не цитировать... За нарушение — штраф или еще чего... Вроде есть в Советском Союзе цензура, работа ее налицо, и вроде нет, т. к. нигде не фиксируется факт совершения этой работы. Начальству Главлит тоже не пишет отчетов о "достигнутых достижениях", рапортует устно /кстати, большой шанс преувеличить достижения и урвать квартальную премию побольше/.

Мало кто удивляется этому. Удивительным было бы скорее обратное. Например, если бы кто-то, роясь в каталоге, увидел карточку с надписью Роже Гароди "Реализм без берегов" — изъято по цензурным соображениям. Но ведь издается сейчас "Улисс" Джойса в Америке с документом на первой странице о том, что книга была в такие-то годы запрещена цензурой как аморальная. И каждый может получить список "арестованных" книг по запросу, да и сами книги, если захочет. То-есть обнаружить работу цензуры в американском обществе очень легко: она не скрывается.

В советском же — подобная работа организована таким образом, что создается впечатление, будто ее вообще не существует. Цензура последовательна до конца, свои принципы она распространяет и на себя. Нет неподцензурной цензуры. Фальсификация так же, как и на всех других этапах движения знания /т.е. антизнания/ — получение, хранение, применение, передача — начинается с самого элементарного — с неправильной записи фактов. Однако теперь уже не только какие-то факты замалчиваются, а какие-то перечисляются не в той последовательности, в какой они имели место в действительности. Факты цензуры вообще нигде не упоминаются.

Но это значит, что в целой системе производства извращенного знания объективно нет элемента, указывающего на то, что знание извращено, нет свидетельства ложности. Как ска-

зали бы логики, эта система непротиворечива. Дальтонику нельзя доказать, что он видит цвета неправильно. Так и единый советский счастливый народ имеет непротиворечивую прозрачную картину мира; имеет историю, а в ней события и тенденции, случайности и закономерности — все "по науке". И тем не менее, науки истинной не получается.

Любому здравомыслящему человеку хочется спросить: "Почему?" Почему нация живет неверным представлением о себе? Почему скрывает от себя правду, как родители скрывают правду от детей: малы еще! — как врач от больного: может от расстройства умереть, — как нормальный от сумасшедшего: нельзя быть уверенным в выводах..., да и вообще еще больше с толку собьет или сделает более стабильной его перевернутую с ног на голову систему мира, т.е. укрепит и углубит его сумасшествие.

Вспомните, с каким треском провалилась попытка экономической реформы 1965 года, основанной на внедрении так называемых АСУ /автоматическая система управления/; повсеместно компьютеры надорвались в попытках доказать парткомам, что их информация объективная, сдались, однако работают, начиненные специальными программами "ЛАЖА" или "ТУФТА" /по-разному именуются, в зависимости от чувства юмора сотрудников/.

По-видимому, без психоаналитика советской истории самую себя не понять. Слишком много наслоений неотрефлексированных... знание не освобождает, а только дальше закрепощает... Типичный клинический случай, поэтому я оставляю эту проблему для настоящих профессионалов.

И тем не менее, элемент подлинной рефлексии существует в советской системе. Ни одна социальная система не может быть структурирована без этого элемента.

Есть официальные источники информации /источники дезинформации/ и есть неофициальные /единственно достоверные/. Все, кто поставляет информацию по неофициальным каналам /в первую очередь, диссиденты, но в действительности круг этих людей гораздо шире, диссиденты — лишь своеоб-

разные рупоры, медиумы, если угодно/ и кто пытается получить эту информацию / например, иностранные корреспонденты/, считаются преступниками. Первые — предателями, выдающими государственные тайны, вторые — шпионами, тайны эти разглашающими на весь мир. Это, впрочем, в логике системы: правда — государственный секрет.

Вообще же источников объективной информации о советской жизни много больше, чем может показаться на первый взгляд.

У каждой официальной формы жизни и формы знания есть свои неофициальные двойники, иначе давно бы осуществились научные предсказания советологии о неминуемой гибели Советского Союза. Известны: неофициальная экономика — экономика-2, как ее называют американские ученые, в противоположность экономике-1, они считают, какой процент в действительности составляет частный сектор в системе советского хозяйства... Неофициальная система платного образования — сколько кооперативных квартир построили разведенные "молодые ученые" на деньги, вырученные уроками для абитуриентов, "стремящихся к знанию"? Неофициальная система медицинского обслуживания — классический пример — анестезия при абортах стоит 50 рублей. Я уже не говорю о неофициальном искусстве, литературе, философии, религии. Но сейчас мне хотелось бы указать на такие неофициальные источники объективного знания, которые не имеют официальных двойников.

Пожалуй, самый богатый из них — устное народное творчество. Да, да, в современную эпоху, отличительной чертой которой, по мнению многих культурологов, является создание информационной индустрии и, как результата этого, достижение неведомых прежде скоростей, в Советском Союзе, стране, вроде, тоже неотсталой, реальное знание производится допотопными, доисторическими способами, как в первобытно-общинную эпоху. Давно изобретены и письменность и книгопечатание, книгохранение и пресса, открыты школы и университеты. Но ведь все это служит лжи, а саги, анекдоты и песни остаются верными правде, которая передается

"из уст в уста" в условиях технического прогресса через магнитофон. Опять же технология — пишущие машинки — помогает фольклору успешнее конкурировать с напечатанной белибердой. Но тут уже работают диссиденты, это уже Самиздат.

Деятельность диссидентов часто приравнивают исключительно к попытке морального или политического поведения в тоталитарной социальной системе. Ни то, ни другое, по определению тоталитаризма, невозможно... Делается вывод об их странности, если не хуже. Но рассмотрим, скажем, принцип свободы информации, который они отстаивают. Он имеет не только общегуманистический и общедемократический смысл: я человек, поэтому я свободен и поэтому имею право знать все, что хочу знать. В этом принципе есть еще и смысл естественного права знания быть объективным и естественное право человека иметь объективное знание. Требую свободы информации, значит тогда требую действительно подлинной, объективной информации о прошлом и настоящем. Без выполнения этого элементарного условия возможности реального знания все политические и экономические программы преобразования советской системы не имеют значения. Изменить можно только имея представление о том, что и как менять.

Стало быть, точку зрения диссидентов никак нельзя характеризовать как еще одну "партийную" однобокую и тенденциозную /"видят одно плохое"/. Самиздат — это не партийный печатный орган типа "Правды" у советских коммунистов или "Morning Star" у английских. Назвать диссидентов "моральными жертвенниками" или "играющими в политическую демократию" значит абсолютно не понять их функции в советском обществе — функции носителей объективной рефлексии.

Часто русскую эмиграцию считают чем-то вроде "русской души на отлете" после смерти великой культуры великой страны. Литература, созданная ею, уж никак не может сказать ничего дельного о современной советской жизни. Ее

тема — прошлое, безвозвратно канувшее в Лету, ее мотив — мечта об ушедшем... одна большая сплошная элегия. Забывают, что только в эмиграции сохранилась традиция русской философии, русской истории. Можно спорить о степени правильности концепций, о состоятельности обобщений, выработанных этой традицией, но ощущение действительности истории и уважения к ней со стороны исследователя очевидно присутствует в самом подходе к историческим или культурным событиям. Нет издевательства и насилия над минувшим.

Прочитайте Гадамера и вы поймете, как надо быть особенно внимательным к прошлому, может, несправедливо более внимательным к прошлому, чем к настоящему. Ведь все модели прошлого, даже сделанные с максимальной тщательностью и осторожностью, остаются всегда лишь его рациональной реконструкцией. За слишком вольные реконструкции /такую, например: на протяжении веков в России вызревала тенденция осуществления пролетариатом своей освободительной миссии/ история мстит сама — лишает смысла настоящее.

Мне представился случай наблюдать идеально бережное отношение историка к прошлому. Профессор католического университета объяснял студентам, как решали проблему универсалий в раннем Средневековье. Выражение лица у него было такое, как будто он вспоминал, что он делал в прошлый викенд. И это был не книжный червь, в прошлый викенд он наверняка играл в теннис. Просто история для него была реальна так же, как реален прошлый викенд для большинства из нас. Такое же ощущение возникает у меня, когда я читаю Флоровского, русского религиозного историка в эмиграции, или Бердяева, настолько хорошо понявшего прошлое России, что сумевшего предсказать в самый разгар первых пятилеток неминуемое и быстрое умирание преобразовательского энтузиазма масс и переход советской экономики на рельсы мелкого и крупного взяточничества.

Я уже не говорю о том, что благодаря усилиям, часто жертвенным, русской эмиграции литература просто физически сохранена. Эмиграционными издательствами печаталось и

продолжает печататься все, достойное печатания, созданное как в прошлом, так и в настоящем, как в России /а потом в Советском Союзе/, так и за границей.

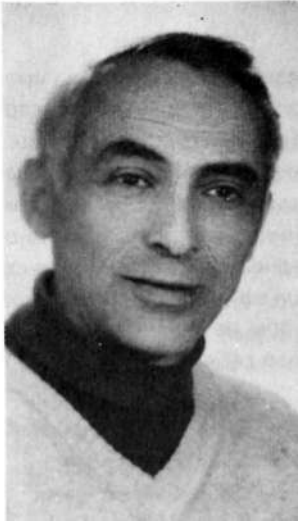
Во многих случаях американские и западные "специалисты по..." совершают ту работу, которую должны были бы делать, по идее, советские "специалисты в...". Поэтому любая советология является не "второисточником", а первоисточником для тех, кто хочет получить объективную информацию о положении дел в современной России. Ведь очень часто советские ученые сами используют ее, хотя идеологи кричат и возмущаются: "клевета", "буржуазная ограниченность", "вымыслы".

Например, идеологическое новшество — марксистско-ленинское учение о гуманизме. Разработка его совпала не только с полнейшим исчезновением всех остатков /пережитков/ человеческого отношения советского государства к своим гражданам, но и с достижениями прогрессивных антикоммунистов в области изучения трудов раннего Маркса. Называется все это мероприятие "Творческим развитием марксистско-ленинской философии в целях поднятия уровня идеологической борьбы на должную высоту".

Так что, если хотите созерцать мертвую картину мертвой советской жизни — читайте "подлинники", "оригиналы", скомпелированные советской информационной машиной; хотите увидеть живую картину той же мертвой жизни /равно как и нормальной, которая, несмотря на все ухищрения государства, таки-есть в Советском Союзе/ — читайте Самиздат, Тамиздат /написанное внутри страны и опубликованное за границей/, Тутиздат /написанное и опубликованное за границей/.

А теперь вернемся к строкам поэта... Мы потеряли себя в жизни, в мудрости, в знании, в информации... И к тому, как близко к сердцу воспринял их наш старейший, самый уважаемый библиограф. Ведь, кажется, не должен был, не терял он человека в себе, а себя как человека — в жизни, в работе; его и мудрость, и знание были всегда при нем. Сейчас, думаю, мне, я понимаю.

Убийственная истина: советская идеологизированная гуманитарная наука /антинаука/ таки достигла мировых стандартов. Информационный /дезинформационный/ взрыв налицо: ложных сведений — переизбыток, мертвых знаний — перенасыщение. Когда-то поэт испытал прикосновение бессмыслицы "естественно" отчужденного знания и ужаснулся. Библиограф был погружен в бездну бессмыслицы "противоестественно" отчужденного знания... Сколько же ему надо было иметь силы и изобретательности, чтобы не отчаяться в существовании своей работы, своей жизни, самого себя.



Михаил ВАЙНШТЕЙН

ГРОМОВЫЙ ГУЛ

Литературное добавление к национальному вопросу в СССР

В газетах Грузии промелькнуло сообщение о том, что Председатель Президиума Верховного Совета Абхазской АССР Баграт Шинкуба освобожден от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию. Что кроется за газетной строкой? На пенсию в Советском Союзе, как известно, очень редко кто-то из власть имущих уходит по собственному желанию, да и Шинкуба был не так уж стар. Во всяком случае, до "предельного возраста" советских руководителей ему было еще далеко. Да и сам он еще года два назад об отдыхе и пенсии, видимо, не помышлял. Говорю небезосновательно, так как однажды довелось мне стать невольным свидетелем и участником беседы, в которой Баграт Шинкуба, касаясь своих жизненных и литературных планов, вряд ли умолчал бы о задуманном "крутом повороте" в своей служебной судьбе.

...В тот раз выборы правления Союза писателей Грузии почему-то особенно затянулись. Делегаты съезда, которых уже после голосования просили не расходиться, томились от безделья и усталости. Время перевалило за полночь, буфеты

давно закрылись, но организаторы съезда все никак не оглашали результатов выборов. В огромном зале Верховного Совета республики, где проходил съезд, там и сям чернели небольшие группки беседующих, но накал дискуссии, — не очень-то высокий и в часы заседаний, — теперь окончательно угас и касался, большей частью, тем, далеких от литературы, от издательских забот и треволнений писательской организации. Баграт Шинкуба, абхазский поэт и прозаик, с которым меня в тот вечер познакомили, неторопливо рассказывал своим тбилиским друзьям о каких-то общих сухумских знакомых. Затем кто-то заговорил о новой книге Шинкубы "Последний из ушедших" и спросил, получил ли Баграт его письмо, отправленное сразу же после прочтения романа, — там было и несколько вопросов к автору. Шинкуба ответил, что письмо получил и ответит непременно, но... подумалось, что отвечать на вопросы Шинкубе, действительно, будет нелегко, — и это объясняется самим содержанием романа. Переведенный на русский язык и опубликованный в московском журнале "Дружба народов" /1976 г., №5, 6, 7/, он, действительно, касался болевых точек истории абхазцев и их давних отношений с Россией, их северным соседом. Сложность ситуации при "прохождении" романа по инстанциям представить себе было нетрудно, — и это притом, что в числе его переводчиков значился и К. Симонов, призванный, конечно, не только литературно отшлифовать "русский вариант" произведения, но в какой-то мере и прикрыть его от ударов судьбы своим именем.

Вообще произведение казалось "солидно и прочно" огражденным от возможных проработочных наскоков. И не только факторами внешними — и высоким постом автора, и именами переводчиков, и авторитетом московского журнала, — но и целой системой внутренних "фортификационных сооружений", которые должны были "отделить" историю от современности, литературу от действительности.

* * *

История и современность живут в романе двумя разными и даже автономными пластами. Всячески подчеркивается их несравнимость, невозможность каких бы то ни было мостиков, аналогий, метафор. С одной стороны — течение давней истории, середина прошлого века, когда русские войска подавляют последние очаги сопротивления на Кавказе и в Причерноморье; с другой — "лекция" о сегодняшней Абхазии, которую читает непосвященным специалист-филолог, исследователь исчезнувшего убыхского языка. Для этой цели, во многом, специалист-филолог и введен в роман. Тут от автора потребовался даже сложный композиционный прием, чтобы, во-первых, дать слово "советскому ученому-абхазцу", во-вторых, чтобы и его рассказ, фиксирующий, так сказать, историческую истину в последней инстанции, все же отнести в канун Второй мировой войны, — современность-то советская, да за сорок лет ведь немало воды утекло...

К тому же факты действительности, не забудем, поведаны не автором-публицистом, а все тем же ученым-лингвистом, рукопись которого, запечатлевшая его поездку в Турцию и встречи, и беседы с "последним убыхом", несколько десятилетий пролежала в сундуке его матери, не верившей до последнего своего часа в гибель сына на войне.

Два пласта романа — со всеми оговорками — противостоят друг другу и противоборствуют. Вспомним "пласт исторический": огнем и мечом царизм уничтожает поселения горцев, и остатки убыхов, живших некогда в горах Кавказа и по берегу Черного моря вплоть до современного Сочи, — уходят в Турцию, где и теряется их исторический след. Убыхи избирают долю изгнанников не по собственной воле, — им никто не предлагал свободу, дружбу, союз. Альтернативой бегства в Турцию была лишь возможность поселения на землях внутренней России, где убыхи, прожившие многие столетия в соседстве с родственными им абхазцами, оказались бы в окружении чужого и чуждого языка, нравов, законов /или

скорее баззакония!/. Они — скотоводы — отрывались от гор, а "равнинное хозяйство" было им незнакомо и непривычно. Да и климат степей был для них опасен, если не губителен. Судьба оказалась безысходной. Приведу в подтверждение лишь небольшой диалог из романа между Хаджи Керантухом, возглавлявшим борьбу убыхов, и царским генералом.

Хаджи Керантух: "Мы когда-то приняли ваше подданство, надеясь, что нам будет хорошо жить, но наши надежды были обмануты... У нас свои законы, а у вас свои. Мы не хотим, чтобы ваши, чуждые нам законы, стали ярмом на нашей шее".

Генерал: "Убыхи должны решить, желают ли они переселиться на Кубань, где получат в вечное владение землю и сохранят свое народное устройство и суть. Если нет — пусть переселяются в Турцию".

Царское "обещание" сохранить прежний уклад жизни было убыхами уже проверено, и поэтому они ушли в Турцию, где осуществление подобных же обещаний еще казалось возможным...

Такова была правда прошлого, — и суть исторического пласта романа. Антитезой ему служит рассказ лингвиста Шараха Квадзбы, беседующего в Турции с "последним убыхом". Квадзба — абхазец, он — представитель народа, значительная часть которого после Кавказских войн осталась в родных краях. Не надо было бежать в Турцию, утверждает Квадзба, и тогда убыхи, подобно абхазцам, жили бы ныне полнокровной национальной жизнью. "Я пытался рассказать ему, — сообщает лингвист-путешественник в своем дневнике, — и о тех переменах, которые произошли у нас в Абхазии. О городах и дорогах, железных и шоссейных, об осушении наших топких низменностей в приморской полосе, о борьбе с малярией, о больницах, о школах, в которых дети учатся на абхазском языке. И вообще о том, что такое советская власть в нашей Абхазской автономной республике".

Два народа, два пути, две судьбы? Один оказался недостаточно зорким и погиб; второй разглядел в вооруженных пришельцах носителей высокой культуры /христианская Россия

противостоит мусульманской Турции?/, понял их грядущую социальную миссию "строителей коммунистического общества" и, перетерпев столетия "царское иго", обрел полноту национального и социального бытия?! К терпению и смирению перед ликом исторических бедствий и испытаний призывает роман Б. Шинкубы?

Вряд ли. Вся история с Шарахом Квадзбой, который накануне войны заинтересовался уже мертвым убыхским языком и отправился в Турцию на встречу с его "последним носителем", — не только "чисто композиционный прием", но и намек на ту "идейно-художественную дистанцию", которая разделяет автора и его восторженного героя. А "дистанция" временная? И она, конечно, не случайна в общей концепции романа. Тирады Квадзбы, уже сами ставшие историей, сегодня, спустя четыре десятилетия после написания дневника, не могут избежать соотношения с действительностью и оценки их правомочности уже со стороны нашего современника, человека нового поколения. А материал для "неожиданных" выводов, для полемики с оптимизмом Квадзбы "заложен" в самом тексте романа. Не всегда, далеко не всегда судьба абхазцев, как бы противостоящая в произведении трагической доле соседей-убыхов, оказывается на поверку такой уж "внутренне необходимой"! Автор как бы в скобках замечает: "Но с тех пор за два года времена переменялись к худшему, и новый наместник Кавказа, великий князь Михаил Николаевич, считая, что сохранение в дальнейшем владетельного княжества Абхазии вряд ли принесет какую-нибудь новую пользу, думал только о том, как бы поскорее и понезаметнее упразднить это последнее владетельное княжество, хотя бы своим названием напомилавшее о какой-то былой независимости". Затем "неожиданно" читателю сообщается, что в 1877 году происходило насильственное переселение абхазцев в Турцию. И, наконец, самое главное: передавая автору рукопись Квадзбы, директор сельской школы поясняет: "Написана она перед самой войной, но по-моему, и сейчас не устарела". Уроки ее нельзя забывать и сегодня, а быть может, сегодня-то они важны, как никогда! И тогда

монологи столетнего Зауркана Золака, "последнего убыха", не забывшего красоту родного языка и притягательную силу родных мест, начинаешь соотносить не только с его личной судьбой и историей его народа, но и с жизнью абхаза Шараха Квадзбы и его соотечественников. Золак говорит /напоминает?/: "Убыхский язык — мой родной, я везде и повсюду слышал его с самого детства. И у нас дома, и всюду, где бы я ни был. Как я могу забыть его?" И снова: "Еще хочу спросить тебя, был ли ты в Мацесте? Там, где течет огненная вода? Где земля проливает горячие слезы? Неужели эта огненная вода, вырываясь из-под земли, ничего тебе не сказала?"

Так незаметно историчность и абстрактность дискуссии между представителями двух народов и двух поколений прорастает семенами сегодняшних волнений, и уходит на задний план дилемма между тактической целесообразностью смирения перед подавляющей силой врага и эмиграцией из родных мест под напором захватчиков в места незнакомые, а на смену ей выступает острая проблема сохранения — в любых условиях — своей национальной сущности, своего языка, культуры, традиций. И памяти — о собственной истории, о выстрадавших за многие века заповедях гуманизма, социальной справедливости, принципах человеческого единения. И тут "поверх барьеров" и полемики старый Зауркан Золак оказывается истинным учителем молодого Шараха Квадзбы, подлинным хранителем народного опыта, на себе испытавшим всю трагичность общей судьбы своих жестоко ассимилированных соплеменников, их раздавленного будущего, их безжалостно смятых душ, их неотвратно запоздавшего прозрения и освобождения от иллюзий обретения покоя в чужой среде, в чужой вере и быте. Б. Шинкуба очень подробно повествует о "турецкой жизни" убыхов /кажется, даже излишне подробно!/, исследует самые разные судьбы и биографии — от внешне благополучных, до очевидно погубленных, — но за всеми этими "примерами" — неудержимо прорываются душевный стон и духовная сумятица потерявших жизненную опору людей.

Роман Б. Шинкубы потому-то "и сейчас не устарел", что

он — предупреждение и предостережение всем тем, кто с легкостью, кто в самоборении, кто под давлением жестких обстоятельств, но готов отказаться от своей самобытной национальной доли. За отказ расплачивается и он сам, и многие грядущие поколения.

* * *

Таков "урок" "Последнего из ушедших" Баграта Шинкубы. Урок этот не прошел бесследно и для самого автора. И хотя мы не знаем, конечно, непосредственных причин, послуживших основанием для освобождения бывшего Председателя Верховного Совета автономной республики от занимаемого им прежде поста, — догадаться об общей подоплеке не так уж трудно. Достаточно лишь вспомнить о политике ЦК КПСС, которая на протяжении пяти десятилетий "плетется" вокруг маленькой Абхазии. Ее используют как дополнительное средство давления на свободолюбивую Грузию, часть которой — по конституции СССР, она ныне составляет. По вывескам в Сухуми — столице Абхазии — можно судить не только о температуре отношений, в данный момент существующих между Тбилиси и Сухуми, но и о "накале чувств" между Москвой и Тбилиси. Много русских вывесок — руководители ЦК КПСС чем-то недовольны Грузией и прибегают к политике "кну-та"; много вывесок грузинских — поощряют Грузию, прибегая к "политике пряника". Так два народа, равно отстаивающие свое право на национальное бытие, оказываются под прессом третьей, великодержавной силы.

Освобождению Баграта Шинкубы, добавим, предшествовали некоторые поучительные события: более или менее отчетливое брожение среди абхазской интеллигенции, обеспокоенной ущемлением ее национальных чувств; ответные действия со стороны республиканских властей; приезд в Тбилиси и Сухуми партийных представителей Москвы, которые-то и положили "конец" конфликту; в какой-то мере они поддерживали абхазцев, еще раз желая "предупредить" грузин; затем прошло некоторое время, и вот стрелка "политико-воспита-

тельного барометра" вновь качнулась, — на этот раз "поощрить", видно, решили грузинские власти, и Баграт Шинкуба /только ли он?/ оказался не у дел... Но это уже сегодняшняя нелитературная реальность. Она, впрочем, помогает глубже ощутить и достоверность проблематики шинкубовского романа, и его живую актуальность.

* * *

Вслед за романом "Последний из ушедших" появилась историческая повесть Михаила Лохвицкого "Громовый гул". Могу засвидетельствовать, что задумана и написана она была задолго до журнальной публикации романа Б. Шинкубы. Задержка с изданием "Громового гула" произошла не по вине автора — будучи принята к изданию в альманахе "Дом подчинарами", повесть затем начала проходить все круги цензурного ада. Мне, как составителю альманаха, приходилось выслушивать беспрестанные требования о необходимости смягчить сцены, запечатлевшие "просветительскую роль" русских войск на Кавказе. Вновь и вновь приходилось, рядясь в тогу "академичности и научности", апеллировать к "цитатам классиков марксизма-ленинизма", неосторожно клеймивших некогда "империализм русского царизма", его захватническую, грабительскую политику на Кавказе. Но одно дело — цитаты и история, другое — действительность и современность. И новые доводы о том, что речь в произведении идет о прошлом, — не помогли. Повесть написана сегодня, поучал меня цензор, и читатель может подумать, что это неспроста. И, не замечая двусмысленности своих "доказательств", добавлял: "Еще решат, что намекают на сегодняшнюю политическую ситуацию! А в Москве сочтут за откровенный выпад!" Цензура терзала автора и редакцию альманаха многие месяцы. Появилось послесловие московского писателя Ю. Давыдова, которое должно было стать как бы "благословением" Москвы. "Московские власти" к этому послесловию, конечно, никакого отношения не имели, и Ю. Давыдов весьма и весьма далек от "руководящих деятелей" Со-

юза писателей, но все же для цензуры стоящее под статьей слово "Москва" звучало магически-завораживающе, впрочем, не исключено, что и цензоры притворялись, будто верят в "директивность" послесловия. Были сделаны кое-какие купюры, внесены поправки /некоторые куски попросту "переписывались", чтобы только создать видимость "переработки"!/. Борьба с цензурой шла, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Повесть выжила, устояла /все-таки дело происходило в национальной республике! и встретила с читателем. /Альманах "Дом под чинарами", 1978, Тбилиси, издательство "Литература и искусство"/.

Читатель, внимательно следящий за журнальной и альманашной периодикой, не мог, конечно, не обратить внимания на поразительные совпадения в двух произведениях — романе Б. Шинкубы и повести М. Лохвицкого. В повести читаем: "После пленения Шамиля в основном закончилась война на Восточном Кавказе, до конца 1861 года происходили лишь небольшие бои в Дагестане и Чечне. Наше командование готовилось к решительному наступлению в Закубанском крае с тем, чтобы потом, в следующие годы приступить к переселению горцев на северном склоне Главного Кавказского хребта и племен, живших по побережью Черного моря. Сразу же объясню для неосведомленных, что черкесы состояли из нескольких племен: шалсугов, жанеевцев, бжедухов, натахайцев, кабардинцев, темиргоевцев, абадзехов, убухов и других. До недавнего времени самым многочисленным черкесским племенем были шалсуги. Теперь их почти не осталось, как не осталось, скорее всего, и убухов". Итак, оба произведения касаются одного и того же исторического периода: 60-е годы прошлого века. Оба писателя исследуют одни и те же исторические события: кавказские войны и захват царской Россией огромных территорий вдоль Черноморского побережья; наконец, перед читателем проходит трагическая судьба двух племен — убухов и шалсугов, известных миру под одним и тем же названием — черкесы.

Но есть в повести и отличие, которое, — даже оставляя в стороне соображения о ярком художественном мастерстве ав-

тора, о глубине и масштабности повествования, — делает чтение "Громового гула" — и вслед за романом — захватывающе интересным. Читатель как бы приглашается взглянуть на те же реальные события, на тех же реальных героев, но с другой, полярной, но столь же важной для истории стороны. У М. Лохвицкого о событиях своей жизни рассказывает русский офицер Яков Кайсаров, который по рождению, воспитанию, службе, казалось бы, принадлежал к тем, кто незванно явился завоевать "немирный Кавказ". Но оказалось, что рождение в дворянской семье не обязательно гарантировало привычной "накатанности" существования, что воспитание в Кадетском корпусе не всегда предопределяло мировосприятие и мироотношение, что армейская служба не обязательно вела к заскорузлой узости и черствости чувств и понятий. Действительность и история вносили свои коррективы. Не случайно герой повести вспоминает заговор декабристов, хотя и замечает, что он "не дал нам, получившим в середине века военное образование, пищу для размышлений. Упоминать о декабре 1825 года в печати запрещалось. Мне были известны лишь имена повешенных, зачитывался я повестями А. Марлинского, о котором знал, что Марлинский — псевдоним декабриста Бестужева, он в одном из сражений на Кавказе у мыса Ардилер, якобы не погиб, а перешел на сторону горцев. Говорили так потому, что тело его не было найдено среди убитых. Поскольку такая версия была романтической и простая логика прямо-таки диктовала воображению: заговорщик, восставший против царя, не мог не перейти на сторону головорезов-черкесов, мы, молодежь, больше хотели верить в эту легенду, чем сомневаться в ней". В заметке этой — очевидная внутренняя двойственность: незнание действительных фактов и наивно-чистая вера в благородство "первых революционеров". Такова была начальная пора образования не одного только Якова Кайсарова. В послесловии к повести рассказано о записках Федора Федоровича Матюшкина, что хранятся в рукописном отделе Пушкинского дома в Ленинграде. Так вот, молодой человек, начавший в 10-х годах прошлого века свою офицерскую карьеру, отчеркнул две мысли.

Первая: колониальные захваты равно губительны как для покоряемых, так и для покоряющих, так как поджигают не только войны европейцев с народами других континентов, но приводят к вооруженным столкновениям между самими европейскими народами. Вторая: "Мало изгнать из своей земли рабство, чтобы доставить подданным счастье, безопасность, богатство, но надобно изгнать его из колоний — для блага всего человечества". Эволюция Федора Матюшкина к этой мысли была не быстрой и не легкой, как и эволюция Кайсарова, проходившего свои университеты на Кавказской войне. Причем, отчетливо проступает несколько "болевых" узлов-средостений, — прозрение разбуженной совести началось с той минуты, когда сознание Кайсарова было впервые обожжено видом убитого им горца: "Горец был убит возле своего дома. Простая мысль эта словно придавила меня. Жил он себе со своей семьей, матерью, отцом, детьми. А потом пришел откуда-то я, именно я, и убил его". Судьба не милвала юного офицера, не ограждала его от правды и грязи войны, да и можно ли было не заметить горцев, потерявших всякую надежду на спасение — в родных местах, в России или в Турции, — и целыми семьями ждавших на примятой траве лишь единственного блага — наступления смерти. Кайсаров писал в своем дневнике: "От рождения я знал — умирают от старости, от болезни, от пули или кинжала, от отравы, огня или кораблекрушения. Здесь же умирали от полной безысходности, от крайнего отчаяния, и умирали не одиночки, тихо угасали целые семьи. Необычен был и сам облик смерти. Более всяких описаний и рассказов раскрыл он мне глубочайшую веру черкесов в то, что они не исчезнут, а перейдут в другой мир, продолжат в нем свою жизнь". Контрастом отчаяния и безысходности горцев оказывалась отчетливая тщеславность поведения "победоносных генералов и храбрых офицеров", что тянулись к чинам и наградам, стараясь, однако, урвать и трофеев поболее. Начальники друг у друга оспаривали право именоваться создателями "системы", при которой в горных лесах прорубали просеки, сжигали аулы, уничтожали сады и посева. Горцам приказывали через

толмача переселяться на Кубанскую равнину под присмотр русских гарнизонов или уезжать в Турцию. В оставленные места переселяли, несмотря на их противодействие, казаков. Они убегали, но их настигали и снова гнали обратно. Кайсаров не бежал от правды, сколь бы обескураживающей и тяжелой она ни была, — он стремился к ней: "Ни казаки, ни русские мужики переселяться на черкесские земли не хотели. Разговоры о том, что захватить Кавказ было исконной мечтой русского народа, — гнусная ложь. Монархи всегда прикрывают свои гнусности ссылками на исполнение ими мечты и воли народа".

От понимания трагической бессмысленности происходящего Кайсаров шел к действию, вернее — к противодействию лжи, лицемерию, политиканству, которые святыми словами об исторической необходимости, велении эпохи, зове судьбы только пытались прикрыть грабительское разорение и захват чужих земель, разрушение основ чужой жизни, другого народа. Кайсаров был бескомпромиссен в размышлении, последователен и смел в своих поступках. Он уходит в аул, — не для того, чтобы прятаться в горной глуши и тиши, а чтобы со страждущими и страдающими разделить их участь, найти в их общей доле покой своей мятущейся душе. Он не был наивным мечтателем и восторженным идеалистом. Мечты и идеалы его были зримы и основательны, и возвращены были реальностью действительных противоречий, даже прагматизмом его подхода к истинным интересам и потребностям не только, а, может, и не столько горцев, сколько миллионов крестьян России. Именно в одну из минут прозрения мелькает в памяти его, казалось бы, давно забытый случай из ранне-раннего детства: "Лет трех или пяти, — занес он случай в свой дневник, — весной я вышел из парка и, с любопытством разглядывая все окрест, дошел до пахотного поля. Притомившиеся мужики сидели у межи. Один из них, седобородый, с темными глазами, поднялся, шагнул ко мне и с возгласом: "А-а, барчук!" схватил меня и поднял. Вижу отчетливо его грудь, за расстегнутым воротом, ниже загорелой шеи под бородой она была белой, и волосы на ней тоже были

белые. От него крепко пахло потом. Во рту не хватало впереди двух зубов. Мозолистые ладони сдавили мне бока. Я громко закричал от страха, забился, он отпустил меня, и я кинулся бежать. Оглянувшись, — не преследует ли старик, — увидел глаза его — в них были страдание, укор, обида..."

Социальный разрыв, распад общества по вертикали представлял как причина и следствие — одновременно — разрыва межнационального, по горизонтали. Он был причиной, так как решение всех общенациональных проблем господствующая элита привычно искала за пределами государства, в захвате новых земель — источников сырья и рынков. Он был следствием, так как привычный путь был роковой, преступной ошибкой, только углублявшей и усугублявшей разлом между слоями и классами народа, отчуждение власти от подвластных, имущих от неимущих, десятков тысяч от десятков миллионов. Выход диктовался бедой не только горцев, но и народа русского, стонавшего и изнемогавшего под бременем той тяжелейшей ноши, которая была опущена на его слабеющие плечи. Итог раздумий, душевных мук и духовного возрождения мог быть только один: "Так можно ли примириться с тем, что красота была убита, что красоту будут убивать вновь и вновь? "И были люди только единым народом, но разошлись". Часто вспоминаются мне эти слова. Несколько дней назад, во сне, я пытался выбить стекло в окошке, крикнуть людям, находившимся за бревенчатыми стенами избы, о том, что они должны узнать друг друга, но стекло не поддавалось. Я лишь поранил руку и проснулся от душевной боли..."

На этом заканчиваются записки Якова Кайсарова. Но с этих слов начинается чтение повести Михаила Лохвицкого "Громовый гул", эпиграф которой восходит к словам из Библии: "На всей земле был один язык и одно наречье..."

* * *

Ныне голоса слились: окраинные народы огромной советской империи жаждут обретения свободы. Они больше не могут и не хотят терпеть бесправие и подневольное существова-

ние. Но и лучшие сыны народа русского сегодня открыто заявляют о несправедности прежних отношений "больших и малых" народов, отношений, только отвлекающих от проблем внутренних, только обостряющих и так накаленную социальную атмосферу. Они понимают, что промедление смерти подобно... А сама публикация их произведений — свидетельство того, что и властям уже не под силу пресечь веление времени, в котором — глас и приговор истории.

**СЛОВАРИ И УЧЕБНИКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ РУБИН МАСС, ИЕРУСАЛИМ /скидка 20 %/.**

Русско-ивритский словарь П. Л. Шапиро, под редакцией проф. Б. М. Гранде, 770 стр. /28 тыс. слов/. Цена, включая НДС, — 220 лир, после скидки, включая пересылку, — 180 лир.

Новый русско-ивритский словарь Исаака Амира с транскрипцией, однотомный /392 стр./, — 190 лир. Цена со скидкой — 164 лиры.

Учебник "Мори" для взрослых, говорящих по-русски. Автор — Л. И. Риклис, два тома, от изучения алфавита до чтения газеты. Цена — 170 лир, после скидки — 148 лир.

Просьба приложить почтовый чек на соответствующую сумму. Книги будут высланы на адрес заказчика /на ближайшую почту/. По просьбе заказчика высылаем бесплатно каталог.

Адрес: Издательство "Рубин Масс", Иерусалим, П. Я. 990



ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Д. ШТУРМАН

ТЕТРАДЬ НА СТОЛЕ

3.

Думаю, что, отказывая молодой России 1944 года в мировоззрении, профессор В-й, наш главный стукач, был неправ. Он мерил окружающих на свой аршин, стараясь доказать себе, что его аршин универсален.

К чему же сводилось наше мировоззрение? Нас обуревал первозданный хаос нелепостей и прозрений, лживых догм и неожиданно зрелых догадок, подтвержденных потом годами работы. Все это было весьма далеким от чего-то похожего на последовательное миропонимание. Но мы напряженно размышляли над этим хаосом и пытались навести в нем порядок.

Когда я пытаюсь очертить тему, которая увела нас из университета в тюрьму, на ум приходят опять мои собственные непоэтические, но биографически точные стихи: "Легко ли детям было верить, что их прозрения не лгут, что государством правят звери и правды взрослые бегут? Все наши мысли были данью той долгой гибельной борьбе, когда искали оправдания ему и вам, а не себе!.." Вот она — Тема: мы искали оправдания тому, что уже не могли оправдывать, и неотвра-

тимо шли к его отрицанию. Подозреваю, что весьма расплывчатый комплекс наших тогдашних идеалов, пожеланий, надежд, симпатий и антипатий был близок к нынешнему "прокоммунизму" американских и западноевропейских "высоколюбых". Многими годами позже, уже в Харькове, появилась у меня знакомая — санитарка из больницы, где работала в канцелярии мама. Звали ее Маруся. Это была чернобровая, краснощекая, крутобедрая, с горячим нравом, острая на язык деловитая украинская молодлица. От нее мы переняли удивительно емкий тост под первую рюмку: "За все хороше!" /так это звучит по-украински/. Наш коммунизм в дни, предшествовавшие нашему аресту, и сводился к Марусиному "за все хороше". Мы полагали, что коммунист — это тот, кто хочет, может и должен устроить так, чтобы все было хорошо и чтобы всем было хорошо. А вокруг слишком многое было плохо и большинству было плохо. И мы, хотелось нам того или нет, ко времени это было или не ко времени — с точки зрения государственной власти и даже с нашей собственной точки зрения — должны были разобраться, почему же все-таки настолько плохо. Мы не могли, не имели права в этом не разобраться. Мы занимались многим: Марк, лингвист, — теорией Марра, в которую он зарылся так, что его иначе, как Марриком, на факультете не называли; Валентин, математик, любимый и способнейший ученик профессора М. Я. Выгодского, — какими-то экзотическими проблемами высшей геометрии; я, филолог, — поэтикой Пастернака, метафорой Олеси и стилем Хемингуэя; все мы вместе — структурой первобытного мышления по Леви-Брюлю и Фрезеру, первобытным обществом по Моргану и Энгельсу. Мы решили начать свою "проверку" происходящего с самых истоков — от пещерного человека — и были твердо уверены, что нам это по плечу. Попутно мы слушали какую-то часть лекций и как-то сдавали экзамены в университете.

Но от всего этого мы возвращались к одному и тому же вопросу: почему "все не так, как надо"? И звучал в нас этот рефрен не горестно-безнадежным утверждением, как в песне Высоцкого, — он возникал в виде задачи, которую мы долж-

ны были и, по глубокому своему убеждению, в состоянии были решить. Не отчаяние, а исследовательский азарт, веселый при всей невеселости жизни, правил нами. Он великолепно вписывался в нашу молодость, в участвовавшие победы на фронте, в сложные и счастливые наши влюбленности и "измены", в чудо алма-атинских весен...

Невозможно себя, канувшую в прошлое, воспроизвести, не домысливая. Я и не пытаюсь оживлять минувшее так, словно не было всего пережитого после 1944 года. Художник, может быть, и сумел бы вызвать еще раз к жизни всю слепоту и прозорливость дней своей юности. Но простым смертным, не владеющим "божественным глаголом" искусства, остается лишь по возможности точно припоминать и оценивать далекие дни. Жизнь все более грозно расходилась со словами, которыми она была пропитана. Но ведь и внутри нашего сознания, в качестве его собственной музыки, звучали во всю мощь те же слова. Мы ощущали ложь, пронизавшую всю советскую жизнь, но относили ее* на счет банальности, истерности, неуместности слов, а не на счет сути самих идей. Ложь воспринималась как порок стиля и языка, на худой конец — как симптом неискренности лиц, произносящих ее, а не как свойство самих понятий. Опять, ради лаконичности, трудно дающейся мне как публицисту, приведу несколько своих стихотворных строк: "Такой огонь с детсада в нас горел, в такие нас запеленали латы, что подвести под эти постулаты могли бы мы и собственный расстрел. Но сердце бунтовало против книг и клало постулаты на лопатки. Нас мучили греховные догадки, и Красный Рим под их напором ник. И чувствуя, что вера отомрет, как только сердце доводы добудет, смотрели мы вперед, вперед, вперед, — в грядущее, которого не будет..."

Мы стали наглядным свидетельством того, почему неправедная власть должна истреблять прежде всего своих самых

* Как через годы — авторы педагогических повестей и романов "оттепели": начинающий А. Кузнецов /"Продолжение легенды"/, Любовь Кабо /"В трудном походе"/, авторы целой лавины статей в "Литературной газете" и др.

честных сторонников — тех, кто всерьез воспринимает ее словесность: идеалист, уверенный в чистоте ее побуждений, полагающий, что честная работа мысли лишь усилит позиции этой власти, для нее "опаснее врага".

В камере-одиночке у меня появилось время подумать над тем, что нас привело в тюрьму. Я умею думать о серьезных вещах только на бумаге или вслух. Мне необходимо было писать. Я вынимала фанерную полку из тумбочки, черенком ложки выковыривала твердые кусочки известки из мышиной норки и, заслоняя от "глазка" тумбочкой, стоящей между койкой и дверью, писала, заучивала наизусть, стирала написанное и снова писала.

...Мы марксизма не знали — мы в него верили. Ритуал, окружающий человека с рождения, в том числе — ритуал привычной словесности, расположен в ряду первооснов бытия, создающих личность, таких же, как родной язык, семья, природа. Ребенок с пейсами, прозрачно-бледный от бесконечного сидения над священными текстами; ребенок с нателеным крестом на шее; ребенок в пионерском галстуке, подросток с комсомольским значком; ребенок со свастикой на рукаве; ребенок и подросток без внешнего отличительного мировоззренческого клейма; юнец, выкрикивающий какие-то истерические лозунги, провозглашающий свой атеизм, религиозный фанатизм, национализм или космополитизм, — все они в начале, в истоках своих путей аргументированы средой, а не работой их собственной мысли. В ритуально-стабильной, фразеологически, информационно однородной среде эта инфантильная рефлекторность мироощущения может длиться всю жизнь. И все-таки человеческое сознание, мужая, опираясь, если жизнь подарила ему это счастье, на мыслящих родителей и наставников, на свидетельства жизни, на книги и опыт, вырывается из тенет ритуально-фразеологической своей рефлекторности.

Вот неполный и упрощенный перечень криминальных вопросов, изводивших нас своей неотступностью, а капитана Михайлова — их занудливой, тяжкой, на бесчисленных политзанятиях осточертевшей ему безинтересностью. Он в них,

пожалуй, и не вдумываясь, больше цепляясь к тому, что мы говорили о советской власти и "лично о товарище Сталине". Наш следователь написал в протоколе вместо "вечер английской баллады" — "вечер английской баланды", и мне пришлось ему объяснять, что такое баллада. Его невежество было, по-видимому, нашим выигрышным билетом: он нас недопонял, несмотря на мои обстоятельные и добросовестные объяснения каждой мысли в каждом черновике и на все попытки растолковать ему теоретические истоки наших сомнений. Мы спрашивали гражданина Михайлова /не понимавшего, какое это имеет отношение к "делу" и полагавшего, что мы просто замыливаем ему глаза/, к примеру, о том, так ли уж несправедливо, что предприниматель не возвращает рабочему "прибавочной стоимости". Оставьте рабочего один на один с природой, без машин, без технологии, организаторов, специализации, кооперирования и т. д., — говорили мы, — и посмотрите, что он "произведет" один?

Лет через двадцать попала мне в руки одна из еще ортодоксальных популяризаторских книг Карла Каутского об экономической теории Маркса. В ней он советовал пропагандистам марксизма в массовых аудиториях не вдаваться в детали "распределения прибыли"; это, по его мнению, "затемнит" "ясный вопрос" присвоения капиталистом "прибавочной стоимости". Мы влезли в этот "ясный вопрос" за несколько месяцев до ареста и решительно растерялись: если отдать весь произведенный сообща продукт рабочему, перемрут все те, кто обеспечивает ему возможность работать производительней, чем питекантроп! Особенно поразил нас логичный вопрос Валентина: "На какие средства существуют все аппараты советского государства, включая ЦК и "органы", если не на ту же "прибавочную стоимость"? И что это вообще за строй — советское общество, объявленное Сталиным социалистическим еще в преддверии страшного 1937 года? — вот что занимало нас в первую очередь.

Строй был:

а) государственным — тогда как литературный классический марксистский социализм — строй безгосударственный;

б) с профессиональным отделением управления от производства, тогда как Марксов книжный социализм предполагает "самоуправление ассоциированных производителей", совмещаемое ими с их повседневным трудом;

в) с армией, полицией и другими "органами угнетения", которые должны были "начать отмирать" сразу же после победы революции пролетариата...

Ведь Маркс уверял в "Опыте гражданской войны во Франции", а Ленин повторял в "Государстве и революции", которые мы зачитали до дыр, что после победы пролетариата все "чисто угнетательские органы государства" будут "отсечены" "сразу", немедленно! Сначала мы рассердились на Ленина: почему не "отсек"? Потом решили, что не мог "отсечь": рухнула бы советская власть, а этого мы не хотели. Но тогда пришлось рассердиться на Сталина: зачем объявил социализмом не социализм, а что-то совсем иное? Где в этом "ином" знаменитые "принципы Парижской коммуны": оплата всех государственных деятелей и служащих "не выше простого рабочего"; соединение /?/ законодательной и исполнительной власти; право немедленного отзыва депутатов их избирателями и замена их в любое время другими — по воле пославших; уничтожение полиции, сыска, охранки, постоянной армии и т. д.? И почему мы должны зубрить и "сдавать" на экзаменах этот самый трехмесячный, семидесятилетней давности, опыт парижских повстанцев, а не двадцатилетний текущий опыт собственного гигантского государства?..

Нас не били на следствии: незачем было. Выжимать из нас больше улик против себя, чем мы выдавали по собственной инициативе, следователю, по-видимому, не приказывали. Я вообще не слыхала о побоях в алма-атинской "внутренней" 1944 года, хотя на стене следовательского кабинета, против стола, у входной двери, видела следы пуль, образующие, как мне казалось, контуры головы и плечей человека. Я говорила Михайлову, что знаю о "чрезвычайных мерах допросов". Он объяснял, что "злоупотребления" были и что "виновные" "ответили перед советским законом". Нам не давали два месяца спать больше двух-четырёх часов в сутки.

Думаю, этого было вполне достаточно для погружения ошеломленного человека в какой-то полубред-полусон, мешающий трезвости мысли и способности к пониманию обстановки. Но мы не сразу поняли, что это — изощренная пытка, во многом предопределявшая ход следствия. Со мной Михайлов вел себя мягче, чем с мальчиками. Помню, как он убеждал меня, что, дружи я со "зрелым мужчиной", а не с сопляками-ровесниками, "такой привлекательной молодой девушке" /прошу прощения, но это цитата/ и в голову не пришло бы заниматься всей этой "занудливой ерундой". Постепенно я стала меньше бояться вызовов на допросы: надеялась, что пытать не будут и, значит, боль не заставит меня оклеветать себя и других: кто знает меру своей выносливости?

То, что меня умело опутывали бессонницей, одиночеством, истериками соседей по коридору смертников, грохотом ключей через пятнадцать минут после отбоя — как только уснешь, неожиданной корректностью и комплиментами, — не приходило мне в голову: я привыкла с детства в общении с людьми принимать все за чистую монету. От шагов, опасных другим людям, спас меня только трагический опыт отца: дважды пытались сделать меня осведомителем, но не смогли, хотя и держали ради этого в одиночке два месяца еще и после суда. Я знаю людей, предпочитающих одиночку лагерю, но для меня одиночество было всегда мучительно. Я очень страдала...

Мы были полны надежд, что следствие оценит важность и основательность наших выводов. И уж во всяком случае, что оно убедится в безупречности стимулов, заставивших нас усомниться в вузовской версии марксизма-ленинизма и мировой истории. Размышления эти, в посторонних глазах, настолько холодные и отвлеченные, что они, казалось бы, неуместны в личных воспоминаниях, долго были самой горячей точкой нашей внутренней жизни и главным связующим звеном для всего круга. Они занимали, по меньшей мере, такое же место в нашем повседневном существовании, как сердечные увлечения и охлаждения, дружбы и разрывы, письма друзей-солдат и даже похоронные извещения и фрон-

товые сводки. Именно поэтому мне так живо запомнилось, что, где, когда и кем было понято, сказано или написано в ту лихорадочно-напряженную пору юности. Например, до мелочи четко помню, как Марк впервые произнес слово "монокапитализм".

И не знаменательно ли? Подобно многим нынешним марксистам и почти марксистам, мы остро чувствовали потребность найти для советского строя более точное имя, чем социализм. Ведь социализм — это должно было быть нечто очень хорошее, идеально хорошее, а советский строй был чрезвычайно несимпатичен — вопреки всем, в том числе нашим собственным, доводам в его пользу! Сегодня я нахожусь среди тех, кто не склонен изменять привычке именовать тоталитарную партократическую диктатуру XX века социализмом. Зачем? Разве имя всегда обнажает или отражает существо именуемого? Если бы еще имелась надежда прийти к соглашению, к согласованию бесчисленных шестидесятилетних попыток превратить имя в определение... Но такой надежды, пожалуй, нет. Этот строй сам называет себя социализмом. Так привыкли его называть миллионы людей. Стремление дать точное /?/ имя существующему, но "ненастоящему" социализму приводит к необходимости дать определение социализму "настоящему", но в природе не существующему. Таких попыток в мировой литературе, по одним подсчетам, имеется около трехсот, по другим — даже около пятисот. Среди них — несколько десятков взаимоисключающих пар. Превратить эту разногласицу в согласный хор едва ли удастся.

Но тогда ради реабилитации "настоящего" социализма мы считали необходимым как можно скорее обличить самозванца, раскрыв его псевдоним.

Эту задачу и выполнил мой друг и одноделец Марк Черкасский. Мы шли из университета по одному из тенистых алмаатинских бульваров — зеленых тоннелей удивительной прямизны. Журчала ледяная вода в арыках. Звучала нестройная общая болтовня. Вдруг Марк перекрыл этот гул.

— Ребята, я придумал, как это надо назвать! Какой это, к

дьяволу, социализм? При социализме хозяином должен быть социум, общество! Все общество. Все — это значит все, а не кто-то, уполномоченный или нанятый всеми! Задаю риторический вопрос: кто хозяйничает у нас? Заткнитесь, не перебивайте, я предупредил, что вопрос риторический. Следите за рассуждением. После революции экспроприаторов экспроприровали. Собственность стала юридически общей. Но управлять ею все не могут. Ни сообща, ни по очереди. Доходит? Не могут не потому, что кому-то не захотелось уступить другим управление, а не могут в принципе: техника, технология, разделение труда, организация не позволяют. Все это такое же, как при капитализме, — откуда возьмутся фундаментально новые способы управления? Одни распоряжаются — другие работают. Иначе невыносимо. Выход? Из уполномоченных или наемных служащих строится один совокупный распорядитель — совокупный монокапиталист! Заметьте: один, и притом всеобъемлющий. Ребята, никакие они не собственники: каждый из них — наемник! Но мы-то их для того и наняли, чтоб отдать им власть! Всю власть над нашей собственностью! А если уж отдавать власть, так надо отдавать и ее орудия: армию, полицию, деньги, прессу и т. д. и т. п.! Только один миг они были нашими уполномоченными, а потом мы попали в их лапы, потому что поставили их командовать нами! Никакой это не социализм — это монокапитализм!..

И Марк прочитал нам короткую и пламенную импровизацию о монокапитализме.

— Почему "монокапитализм"? Потому что совокупный капиталист только один, и притом иерархический. Этакий супермонополист, уничтоживший всякую конкуренцию в своей системе! Причем от нас к нему — ни одного рычажка управления, а от него к нам — все "приводные ремни"! И на каждой ступеньке все головы задраны вверх: ждут приказаний! А все команды следуют сверху вниз! Нет частного собственника, но есть машина — монокапиталист с иерархически распределенным всевластием!..

Мы сгрудились вокруг, а тоненький Марк, сверкая карими,

чуть косо поставленными глазами, чертил веткой на влажной земле пирамиду власти. Мы опьянели от емкости изобретенного Марком имени, от наглядности его чертежа /нас тогда адски тянуло к сверхстройным моделям/, но не сдавались без сопротивления:

— Подожди, подожди, не путай: управление и власть не синонимы, — кричал один.

— И собственность не синоним ни власти, ни управления, — горячился другой. — Владеет народ, а управляют народные уполномоченные!

— Собственность только тогда и собственность, а не фикция, — перекикивал третий, — если она есть право распоряжения собственностью, власть над ней!

— Вот именно! — подхватывал Марк довод союзника.

— Власть над вещами и процессами производства — это не обязательно власть над людьми! — цитировали классиков марксизма оппоненты Марка.

— Когда в распоряжении единственного капиталиста, командующего всеми процессами производства, и армия, и охранка, и финансы, и пресса, — что ему — люди? Как вы не понимаете? — потрясался Марк.

Я не рассказываю здесь о том, чего мы тогда еще не понимали, — я говорю о том, что мы вдруг поняли. Всеобъемлющий совокупный монокапиталист Марка был прекрасной рабочей гипотезой для объяснения многих непостижимых для нас тогда черт советской жизни, которая задумана была хорошей, обязана была получиться хорошей, а получилась такой плохой. Термин этот канул тогда в недра ГУЛага. Но я и теперь считаю "монокапитализм" одним из самых точных определений сути социализма.

Ни гражданин Михайлов, ни мы не знали о существовании сходной модели "идеального совокупного капиталиста" у Энгельса. Не знаю, облегчили бы нашу участь ссылки на классика. Прецеденты свидетельствуют, что не облегчили бы: "догматикам", "начетчикам и талмудистам" всегда доставалось от Ленина — Сталина не меньше, чем "ревизионистам". Но мы в неведении дублировали еще не читанное нами Эн-

гельсово "Развитие социализма от утопии к науке" и вдохновенно доказывали, что предельная, точечная сверхмонополизация, уничтожающая всех капиталистов, но сохраняющая капиталистический способ производства, является неизбежным кануном и необходимым этапом "настоящей" социалистической революции.

Как же произойдет "настоящая"? Наша схема и здесь оказалась ортодоксально марксистской — троцкистской, хотя сочинений и речей Троцкого, изъятых из обращения еще до того, как мы пошли в первый класс, никто из нас тогда не читал. Мы разделили обязанности государства-капиталиста на две части: на внешнеполитическую и внутреннюю. Его внешняя, военная, функция должна была, по нашему представлению, "отмереть" после того, как коммунисты объединят человечество в одно государство. Избавиться же от государства-монокапиталиста во внутренней жизни общества помогут наука и техника, когда их уровень, действительно, позволит в сем людям меньшую часть их рабочего времени расходовать на производство вещей, а большую посвящать самоорганизации и самоуправлению. Так мы еще раз пересказали социально-злокачественную утопию, переносящую в технически совершенное будущее идеализацию мифического первобытного равенства. То, что мы самостоятельно сочинили "хэппи энд" "истинного социализма", еще не зная о бесчисленных прецедентах этой финальной сцены /и тем более не предвидя сегодняшних споров на эту тему/, свидетельствует не о нашей умственной зрелости, а об инфантилизме всего "конструкта" в целом. В это трудно поверить, но ни у Маркса и Энгельса, ни у Ленина о переходе от собственности государственной /в нашей схеме — "монокапиталистической"/ к собственности "всеобщей" не сказано ничего более четкого и определенного, чем в наших тогдашних заметках. И ничего более вразумительного не изобрело в этой области последнее тридцатилетие. Ни один из конструкторов бумажного "настоящего" социализма так и не предложил обществу ни удовлетворительного определения своего идеала, ни приемлемой технологии его построения.

Впоследствии мы споткнулись именно об этот коварный вопрос — КАК перейти от монокапитализма к "настоящему" социализму? И от него началась уже совсем иная эпоха в наших исканиях, судьбах и взглядах...

4.

...Валюша, жена Марка, была дочерью крупного партийного деятеля, в недавнем прошлом — секретаря одного из казахстанских обкомов партии. В 1944 году он уже работал где-то на Украине, по собственной настойчивой просьбе оставив сравнительно спокойную тыловую должность. Мать Валюши тогда не работала. Радужная и хлебосольная, до глубокой старости сохранившая свой украинский деревенский говор, она привечала и при случае подкармливала шумную изголодавшуюся ораву друзей дочери. Ни мать, ни отец не мешали потом Валюше ждать Марка пять лет и ходить с передачами от вахты к вахте лагпунктов, на которые переводили Марка.

Семья Валюши получала очень высокий по тем временам денежный аттестат и, главное, была прикреплена к высшему закрытому партийному распределителю Алма-Аты. Я помню, как потрясли меня в мой первый приход к ним куски светлого сухого стирального мыла, которые рядами лежали на одной из кухонных полок. Мы с эвакуации не видели никакого мыла, кроме черных зловонных липких комков, выдававшихся раз в месяц по карточкам или при очередной "санобработке". Кубики желтоватого мыла на кухонной полке — это было тогда целое состояние. В те времена мы все, кроме Валюши и Марка, были, как правило, привычно голодными. И все-таки в этом богатом доме мы чувствовали себя хорошо, потому что мать Валюши ненавязчиво, с каким-то крестьянским тактом угощала друзей дочери, приходивших в дом, помогала дефицитными лекарствами. Андрея Досталю спасли от куриной слепоты банки с гематогеном, которые передавала мне для него Валюша. Но все же, когда Валентин Рабинович потерял свою хлебную карточку, он скрыл это и от сво-

ей матери, чтобы не делилась с ним своим жалким пайком, и от нас с Валюшей — чтобы ему, сыну расстрелянного, не перепало от щедрот партийного распределителя. Случайно мы об этом узнали, и Валюша тяжело обиделась, но Валентин иначе не мог.

Семьи обкомовцев и цекистов через уборщиц или знакомых из "простонародья" продавали излишки своего фантастического "литерного" снабжения на "черном рынке" и скупали там же устойчивые ценности /меха, ковры, фарфор, драгоценности/. А окружавшее их тыловое море иссыхало от голода, холода и болезней.

Много лет спустя, когда умирала от рака Валюша и ни отца ее, ни Марка давно не было в живых, Полина Калинична рассказала мне одну историю, пролившую немного света на их странный дом, в который как сына приняли крамольного зятя и где помогли не одному арестанту, ссыльному, освобожденному, просто голодному.

В 1932—1933 годах Валюшин отец был секретарем одного из украинских сельских райкомов партии. Однажды начальник районного отдела НКВД, странноватый парень с жесткой усмешкой /таким он запомнился Полине Калиничне/ заехал к ним со своей молодой женой на казенной машине и предложил показать кое-что интересное. Две руководящие пары приехали в КПЗ* при райотделе НКВД. Их проводили в одну из камер. Там, забившись в два разных угла, на полу сидели скелетообразные мужчина и женщина в серых лохмотьях.

— Посмотрели? — спросил энкаведист. — Теперь пойдем дальше.

Он привел их в комнату, где на столе стоял ведерный чугунок. В таких чугунах на Украине варят похлебку свиньям. Кочережкой он подцепил в чугушке несколько тонких ребер и сказал с обычной своей усмешкой:

— Поняли? Нет? Это они пацана своего сварили. Трехлетнего.

*Камеры предварительного заключения.

Полина Калинична зашаталась и грохнулась на пол.

В это время Валюшин отец заканчивал /как на Киевщине — мой дядя/ сплошную коллективизацию в своем районе. Так и вязало нас всех время одной веревкой...

Полина Калинична долго тогда болела, а муж ее растерянно повторял:

— Что делать, Поля? Что делать? Надо же!.. Необходимо!.. Без хлеба стране конец. А это — нелюди... Что ты по ним ту-жишь?

— Вы — нелюди, вы, а не эти безумные... На вас вина!.. Да что, на Украине хлеба не было бы без ваших колхозов? Детей в чугунах варили до коллективизации?

— Хлеб был, но кулацкий, а нам социализм надо построить, Поля, — беспомощно отбивался муж...

Их семейная жизнь не слишком ладилась, и они больше жили врозь, чем под одной крышей, хотя и не разошлись...

Совместная жизнь Валюши и Марка тоже была непростой, хотя и совсем по другим причинам. Не мне разбираться публично в том немногом, что я о ней знаю. Мне хотя бы очертить силуэты... "Валя=Воля" — все стены камеры, в которую привели меня после суда и где до суда находился Марк, были исцарапаны этим равенством.

Валя — Воля — Валюша... темноглазая, грациозная. Помонгольски широколицая... Иногда — сдержанная до угрюмости, а то вдруг пляшущая испанский танец на столе в кухне, в импровизированном цыганском костюме, с розами в волосах, в окружении ошалевших от восторга друзей...

Марк и Валя были вместе с девятнадцати лет. В 1970 году в Перми Марк сел в поезд, идущий в Москву, и никуда не приехал. Мы с ним были так близки, так дружны в начале пути, как только могут быть близки и дружны юноша и девушка, несколько друг в друга не влюбленные, но понимающие и разделяющие друг в друге все.

После освобождения мы не виделись восемнадцать лет. В 1966 году приехал ко мне погостить на недельку совсем другой, почти незнакомый мне человек. Худенький, ироничный, открытый юноша, живший в моей памяти все эти годы,

из нового Марка лишь изредка выглядывал, как черепаха из панцыря. Что с ним случилось, я так и не успела понять. Все оборвалось его загадочной, непостижимой гибелью...

Зато с Валюшей мы встретились уже после исчезновения Марка куда более близкими, чем расстались в юности. И виделись постоянно — до ее кончины. У Валюши и Марка осталась дочь. Нам не удалось увезти ее из России, как того хотела Валюша. Полина Калинична, старенькая и очень больная, не решилась уехать на чужбину, хотя и пообещала умирающей дочери, что приедет по нашему вызову.

Девочка выросла странно похожей на обоих родителей. С нежного широковатого лица Валюши смотрели вытянутые к вискам горячие глаза Марка и улыбались иронически его губы. А Марк и Валюша внешне не походили друг на друга; только почерка у них были одинаковые — настолько, что Марк писал и сдавал за Валюшу контрольные и курсовые работы в университете.

Обаяние и неуравновешенность, смесь эгоизма и самоотверженности, глухоты и чуткости, одаренности и неумения ни за что взяться упорно, всерьез предрекали девочке, при раннем ее сиротстве и необычной судьбе родителей, нелегкую жизнь. Дядя Марка сказал однажды о внучке: "Вся в отца: идет, не глядя на красный свет". Вероятно, он прав: "на красный свет" шли и Марк, и Валюша, — она их дочь...

Когда девочка училась в техникуме, к ней приставили стукача. Может быть, надеялись выведать что-нибудь об исчезновении Марка? Сельский парень из глухого угла влюбился в странную девочку и однажды, на студенческой вечеринке, подвыпив, предупредил ее о своем "комсомольском поручении".

— Ну и сообщай им все, что я говорю, — равнодушно ответила девочка, — Разве в моих словах есть что-нибудь неположное?

— Нет, — ответил растерявшийся паренек, — пока еще нет. Ты ничего т а к о г о не говоришь. Но — скажешь! Не мне, так кому-то другому, с кем тебе будет интереснее говорить, чем со мной. Обязательно скажешь! Ты что-то знаешь, чего

я не знаю. Ты не так думаешь, как нас учат. Они говорили, что у тебя отец был врагом народа, а теперь исчез. Может быть, сбежал за границу или в подполье... Меня ты за дурака считаешь и поэтому мне ничего такого не говоришь. И не надо! Но кому-нибудь ты обязательно скажешь! — твердил он в отчаянии. — Ты бы лучше уехала в другой какой-нибудь город, где тебя не знают...

**"Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет".**

Гротескная, но и трагическая пародия на бессмертные строки...

Девушка вскоре уехала из города, в котором произошел этот разговор, — к умирающей матери...

Мальчик, не читающий ни Тамиздата, ни Самиздата, не слушающий иностранного радио, тоже не оказался надежным "кадром" для "них"... Только ли потому, что увлекся? Не знаю...

5.

Больше всего нас терзало в ту пору, что ребята — на фронте, а мы — в тылу, но при этом не можем не предаваться крамольным размышлениям.

В одной из моих поэм, писанных, как все прочие мои поэмы, скорее рифмованной прозой, чем стихами, был такой диалог:

"— А может быть, в любые времена у мысли есть незыблемое право не преклонять пред силой знамена и от разгадки не бежать лукаво? И где бы ни работала: в кольце ль, в тылу ли уходящих в битву армий, она за всех нащупывает цель — тем напряженной, чем враги коварней?..

— Нет, нет и нет! Равно вели к измене все кривотолки в тот великий год, когда на пытку шел Сергей Тюленин и подымал Мересьев самолет!"

И далее тот же Голос безоговорочно отвергал "игру ума, дерзнувшего играть перед лицом железной дисциплины дивизий, уходящих умирать!"

И наотрез отказывался "выше ставить свободу мысли, чем ее успех".

"Успехом мысли" должен был стать "настоящий" социализм. А насколько искренним было это самоотречение мысли, ее добровольный /самоубийственный/ отказ от свободы, свидетельствует история моей подруги по лагерным годам Клары Григорьевны Спектор.

В лагере все склонны называть друг друга "на ты" и по имени. Исключения редки и обусловлены чаще всего реликтовыми свойствами тех, кто не может, не способен называть на "ты" и по имени малознакомых людей.

На участке, где я впервые услышала о докторе Спектор, все о ней говорившие неизменно называли ее Klarой Григорьевной. И в моем представлении возникла очень пожилая особа, которую никто не осмеливался назвать по имени.

О докторе Спектор рассказывали легенды: имея десять лет срока, она замещала начальника санчасти большого лаготделения. Она давала больным освобождения от работы даже тогда, когда у них не было повышенной температуры: с нее хватало просто того, что человек остро нуждался в маленькой передышке. Она врвалась в комендатуру, если там начинал кричать избиваемый зэк, и на ее участке коменданты и самоохранники предпочитали заключенных "всерьез" не бить. К числу ее подвигов относилось и то, что она спасла своих товарищей-заключенных от угрозы быть съеденными клопами: все население участка вывели под вооруженным оцеплением в голую степь, а клопов уморили хлорпикрином, предварительно замуравив окна, двери и щели /хлорпикрин вводили через печные трубы/. Когда люди вернулись в бараки, нога увязала в мертвых клопах по щиколотку. Я тоже пережила в лагере нечто подобное, поэтому утверждаю, что здесь нет гиперболы.

В 1942 — 1943 годах вдруг начали "активировать" /освободать/ безнадежно больных, в том числе и осужденных

по статье 58 - 10 УК РСФСР *, по которой сидела Клара Григорьевна. Она с детства болела активным туберкулезом легких. У нее был тогда очень хороший "вольный" начальник санчасти. И оба они торопились сактивировать всех, кого можно было, прежде чем взамен одного из них /безразлично — ко-го: необходимы были два врачебных заключения/ пришлют какого-нибудь мерзавца. Начальник умолял Klarу Григорьевну немедленно пройти активровку: впереди у нее оставалось в ту пору еще восемь лет. Она же хотела до того, как уйдет, спасти всех, кого было возможно. Разрешение активировать "пятьдесят восемь — десять" отменили так же неожиданно, как и ввели, — и доктор Спектор осталась отбывать свой срок. Через год после этого она уже не работала, а лежала в центральной больнице лаготделения с тяжелой сердечной недостаточностью и кровохарканьем. Муж ее работал все это время главным врачом алма-атинского городского противотуберкулезного диспансера. Он не оставлял ее ни на неделю без передач и лекарств.

Когда меня этапировали на пересылку, в больнице которой находилась к тому времени Клара Григорьевна, Марк повел меня познакомиться с легендарным доктором. Клара лежала в крохотном боксе для инфекционных больных, куда через несколько месяцев с трудом втиснули еще одну койку — для меня. В углу, у окна, против двери, за откинутым марлевым пологом, я увидела нечто прозрачно-матово-синеглазое, с косами, лежащими поверх одеяла, и такое юное, что я чуть было не закрыла, извинившись, дверь.

Klara оказалась не такой юной, как, несмотря на болезнь, выглядела: ей тогда было тридцать лет /посадили ее двадцати семи/. Но я-то ожидала увидеть старушку! Она и после года тяжелой болезни была удивительно хороша, но до чего она изменилась за этот год, мне открыл один грустный случай. Я лежала уже в этом боксе, рядом с Klarой. Однажды в приоткрытых дверях остановился здоровенный парень в брезентовой робе. Он пристально взгляделся в наши лица, потом попросил извинения и хотел уйти.

* За антисоветскую агитацию и пропаганду.

— Миша!.. — позвала Клара.

Гигант обернулся на голос и побледнел.

— Я так изменилась, Медведь? — спросила Клара.

Посетитель, опустившись на пол у ее койки, плакал, а Клара печально и ласково утешала его, глядя по голове. Это был один из прежних ее пациентов: она спасла его от пеллагры на участке, где находилась раньше.

Клара жила до войны в Белоруссии. Шестнадцать лет, с безнадежной формой туберкулеза легких, она, рано оставшаяся сиротой, попала в санаторий для хроников, где работал врачом ее будущий муж, Давид Александрович Спектор. Он выходил Клару и женился на ней. Уже после замужества Клара закончила школу. Через год она родила своего единственного ребенка, а позднее закончила мединститут и защитила кандидатскую диссертацию.

Муж приходил в палату почти каждый день*. Много раз я видела его плачущим у постели Клары, как плакал Медведь. Через два года мы с ней опять оказались на одном и том же участке — на отдельном лагпункте для инвалидов, расположенном километров за двадцать пять от железной дороги. Давид, моя мама и мой брат-подросток еженедельно проходили эти двадцать пять километров туда и обратно, таща за спинами рюкзаки с едой и лекарствами — для нас обеих и для наших товарищей. Кто мог лечиться или поглощать еду в одиночку, среди всегда голодных людей? Последний /1952/ год своего заключения Клара с тяжелой душевной депрессией провела в кзыл-ордынской тюремной психиатрической больнице. Давид, который был старше ее на двенадцать лет, не дождавшись ее возвращения, умер от инфаркта в 1951 году. Мне он запомнился таким, каким приходил в палату: худощавым, с бледным, тонким, удлинненным лицом, сероглазым, с серебряной гривой над высоким лбом.

Но я не ради восстановления их рядовой советской истории вспоминаю о Кларе и ее муже. Я хочу рассказать о том,

* В те времена на некоторых городских лагпунктах Алма-Аты редко ограничивали число свиданий. А отношение лагерных врачей к Кларе и ее мужу было вообще особым.

какие люди верили в гибельную утопию, владеющую миром сегодня более, чем когда-либо. Эта утопия властно правила моей подругой, в чьей подвижнической чистоте у меня нет сомнений. "Clarissime"* называли доктора Клару лагерные друзья из дореволюционных интеллигентов...

Когда Клара с риском для жизни родила сына, имя ему было дано в честь Овода — Артур /книгу Э. Войнич Клара помнила наизусть/. Давид вскоре стал главным врачом большого противотуберкулезного диспансера в Минске, имел несколько совместительств. Они ни в чем не нуждались, и Клара жила, не соприкасаясь с советскими буднями. К тому же была она не врачом-лечебником, а сперва аспиранткой, потом кандидатом медицинских наук — лектором в мединституте. Дома были и няня, и домработница. Додик лелеял Клару, как недоношенного ребенка, в стерильной камере, под искусственным солнцем. Клара была сначала фанатически искренней комсомолкой, потом — коммунисткой /Давид в партии не состоял/. Первое столкновение с жизнью произошло в дни эвакуации. Додик лежал тогда в кардиологическом отделении с сердечной декомпенсацией, с отеками /сердце его никуда не годилось смолоду/. Они уходили из Минска поздно, пешком, без вещей: хрупкая женщина, восьмилетний ребенок и больной. До последней минуты Клара в развалинах спасала раненых. Где-то под Минском супруги получили назначение в тыловой госпиталь и с ним попали в Алма-Ату. И здесь Клара, потрясенная всем, что она увидела при эвакуации из Минска, в дороге и в Алма-Ате первого военного года, написала многостраничное письмо первому секретарю ЦК компартии Казахстана Скворцову**. И подписалась: "Врач-коммунист из Минска". Арестовали ее через две недели. Она и не думала отрицать свое авторство, объяснив, что не подписалась из скромности, а не из страха. Врачей-коммунистов из Минска в Алма-Ате мало, и ее при желании сразу же могли пригласить для личной беседы, сказала она.

* Светлейшая /лат./.

** Умер несколько лет назад пенсионером союзного значения.

Скворцов дважды присутствовал при допросах: почему-то письмо его чрезвычайно задело.

— Думаешь, ты одна здесь такая умная? — кричал Кларе следователь. — У нас лежат пачки клеветнических писем!

И тыкал ей в лицо пачку бумаг и конвертов.

— Это свидетельствует против вас, а не против меня, — отвечала Клара.

Трудно поверить, но ее приговорили к расстрелу. Коммунист написал прямое письмо в ЦК своей партии — с попыткой поставить ЦК в известность о замеченных им недостатках и безобразиях. За это письмо его обвинили в антисоветской агитации и в распространении клеветы на советскую власть и партию /статья 58—10 УК РСФСР с отягчающим обстоятельством: военное время/. "Агитация" была адресована первому секретарю ЦК КП КазССР — не оригинально ли?

Правдами и неправдами Давид вырвался в Москву и занялся обжалованием приговора. Клара тоже написала кассационную жалобу. Два с половиной месяца она отсидела после суда в одиночке того же коридора смертников, в котором через три года держали нас. И каждый ночной шорох казался предвестником последней минуты. Однажды ночью за ней пришли. Ведя арестантку по коридору, конвойный сжал одну из ее сложенных за спиной по уставу рук и шепнул: "Порядок". Ее повели не вниз, в подвал, а вверх, в кабинет следователя, и объявили о замене расстрела десятилетним заключением в лагерях. Так вернулась жизнь. Что десять лет для двадцатисемилетней после смертного приговора?

Уходя из дому, Клара успела сказать Давиду: "Артуру — ни слова о моей невинности". Она не позволила мужу ни единожды изменить этой просьбе. По ее убеждению, сын должен был вырасти коммунистом, верным идеям, лежащим в основе Учения. Для неокрепшего ума ребенка не под силу могли оказаться сомнения в советской власти. Приняв сторону матери, он мог распространить ненависть к ее палачам на коммунизм как таковой. Он мог отвергнуть святыню — великую Цель, а не только порочных ее лжеслужителей, против которых восстала мать. Лучше пусть разочаруется в

матери, пусть даже от нее отречется. Так решила Клара. А Давид выполнил ее решение. И сыну сказали, что мать совершила роковую политическую ошибку, за которую понесла справедливое наказание. И что он должен от нее отказаться. Артур ни разу не был у матери и стыдился того, что отец продолжает ее навещать и любить. А Клара собирала фотографии своего "Овода" и молилась на них.

Я освободилась за четыре года до Клары. Первым из посторонних, с кем я увиделась, был ее Алик. Я предупредила и ее, и Давида, что найду способ разрушить их изуверскую легенду, свести на нет их дурацкий, преступный заговор. Они жили по соседству с нами, и мне удалось пригласить Алика к нам. Передо мной сидел красивый холеный юноша, сначала высокомерно-замкнутый, потом все более и более растерянный, взволнованный и, наконец, потрясенный и бледный, вдруг ставший очень похожим на мать. До этого я сродства не видела.

Сперва он с вызовом сообщил мне, что готовится поступить на юридический факультет, стать прокурором и тем искупить вину матери перед советской властью и партией. В конце он ничего не мог говорить: у него тряслись губы.

Говорили, что после смерти отца Артур взял на себя заботы о матери, забрал ее после освобождения из кзыл-ордынской тюремной больницы, и они жили вместе. Вероятно, Клара была после смерти Сталина реабилитирована. Кажется, сын ее все-таки окончил юридический институт. В самом начале 1950 годов переписка между мной и Klarой прервалась. Она жила с сыном и ни с кем из бывших друзей по лагерю не переписывалась: годы были страшные. Должно быть, она боялась повредить сыну.

Если кто-нибудь из моих читателей склонен к убеждению, что истина и ложь самоочевидны, что правда не нуждается в доказательствах, что зло имеет только подлых солдат, пусть он вспомнит о докторе Кларе и ее муже.

6.

Ни тюрьма, ни лагерь, как мне уже случалось о том писать, не убавили во мне веры в людей. Расскажу о нескольких неожиданных случаях проявления человечности и независимой работы мысли в людях, состоящих на службе у бесчеловечности. В страшной машине, увечающей и уничтожающей миллионы жертв, иногда сбивались с общей программы некоторые живые детали. В 1944 году в тюрьмах и лагерях в конвое и надзорсоставе служило немало случайных, а не по призыванию и не по собственному желанию попавших туда людей: нестроевиков, неописанных инвалидов войны, многодетных солдаток, соблазненных несколько большим, чем гражданский, пайком и довольствием. Об этом упоминал и А. И. Солженицын в "Архипелаге ГУЛаг".

Я видела, слышала и читала много страшного в лагерях и о лагерях и могу свидетельствовать, что в самых жутких книгах о них, известных миру, нет преувеличений. Но о хороших людях, оказавшихся волей судьбы на "псовых" постах, пишут редко, а всякий мало-мальски порядочный и сострадательный человек на таком посту — великое счастье для жертв убийственного насилия. Упомяну о нескольких случаях такого везения в моей тюремной судьбе. Однажды коридорный надзиратель Васильев вел меня к фотографу. Васильевых в коридоре дежурило двое. Первый — постарше, с лошадиным лицом, виртуознейший матерщинник, которому я однажды осмелилась пролепетать, что заключенных ругать не положено. По-моему, он удивился, потому что после недолгой паузы выругался заковыристо, но с недоуменно-иронической интонацией. Васильева-младшего, своего ровесника, я увидела, когда часа в четыре утра меня привели со второго допроса. В одиночке, прислушиваясь ко всему звучащему вне камеры, узнаешь о своем коридоре и его обитателях неожиданно много. Васильев-второй вернулся в тот день из служебной командировки: отвозил осужденных в лагерь. Свежий, рослый, широкоплечий парень с басистым окающим говорком принял меня у своего коллеги-разводящего и открыл мою камеру в коридоре смертников, где нас продержали почти

все время следствия. Наши соседи дожидались ответов на свои кассационные жалобы и просьбы о помиловании, и мы в ужасе слушали то крики: "Дайте бумагу для просьбы!", то ночные истерики людей, ожидавших смерти.

Меня забрали из дому в стоптанных тапочках-прорезинках, в короткой черной домашней "татьянке" с рукавом-фонариком. Была я, наверное, уже по-тюремному бледной, да еще после многочасового ночного допроса. Васильев-младший широко распахнул глаза: по-видимому, я поразила его своим вопиюще не преступным видом.

Утром, ведя меня за локоть /руки были отведены по обычной команде "за спину"/ по коридорам "внутренней", он едва слышно спросил: "Какая статья?" "58-10-11, — с готовностью ответила я. — Следователь говорит, что до двух лет условно". "Верь ему больше", — буркнул Васильев и повторил иронически: "Условно!.. Как бы не так!.."

Однажды, во время бешеной летней ночной грозы, в тюрьме погас свет. Стало очень страшно. Несколько смертников, ожидавших ответов на обжалование, истерически забарабанили в железные двери. На них заорали. Зазвенели какие-то звонки. Кажется, в камерах сидело несколько человек, потерявших рассудок: по ночам они вдруг начинали выть — может быть, потому, что на расстрел уводили в подвал ночью, все это знали. К тому времени я уже несколько раз обнаруживала себя стоящей на коленях у койки, положив голову на одеяло и кричащей "мама!.." Так было и в этот раз. Вдруг отворилось окошко в двери, через которое нам давали еду. Дежурил Васильев-младший. "Перестань кричать. Подойди к двери, — сказал он. — Войти в камеру я не могу: пост бросить нельзя. Дай руку. Не бойся: просто выбило пробки. Сейчас все кончится". Васильев продержал меня за руку, пока не включился свет.

Как-то меня вывели на прогулку. Я ходила по периметру небольшого прямоугольника, обнесенного высоченным дощатым забором, а в углу прямоугольника, на табуретке, сидела надзирательница по имени Катя, невзрачная худенькая женщина, чуть помоложе моей мамы. Когда я проходила мимо

нее, она тихо сказала: "Не останавливайся. Говори шопотом. За что посадили?" — "Написала неправильные статьи", — прошептала я на следующем "витке". "Мать здорова. Хлопочет", — сказала Катя на моем третьем "рейсе". Я каждый раз замедляла шаги у ее табуретки /нас было в прогулочном загоне двое/, и она шептала: "Я живу рядом с матерью, на Центральной. Вижу ее каждый день. Брат работает. Лишнего на себя не болтай". Принося в камеру передачу, Катя всегда давала нам с мамой возможность обменяться двумя-тремя словами: мама вписывала их в перечень продуктов, а я — в расписку об их получении. Эти несколько слов спасали меня от сумасшествия: я повторяла их потом в камере сутками. И во время прогулок она всегда сообщала мне что-нибудь о маме и брате, а я называла ее тетя Катя.

Книги мне стали давать через месяц после начала следствия. Полагалось по одной книге на десять дней. Библиотекарша Валя, тоже моя ровесница, тоненькая блондинка с нежным личиком, давала мне по три-четыре книжки, из самых толстых. Когда в коридоре начинали стучать ее каблучки, мной овладевал беспричинный страх, что на этот раз она забудет ко мне зайти. Я стучала в дверь, она заглядывала в "глазок", говорила: "Здравствуй, я помню". И самой последней, оставив, как ей казалось, все самое лучшее и серьезное, приносила толстенные томы. Библиотека во "внутренней" была хорошая. Потом она стала ежедневно кивать мне из окошка библиотеки, на третьем этаже, когда меня "прогуливали" по "ящичку".

После суда, когда я, оглушенная бесконечным, как мне показалось, пятилетним сроком, вместо обещанного условного, была разлучена с мальчиками и водворена опять в одиночку*, я легла почему-то на пол и, не прикасаясь к уже стоявшей на тумбочке маминой передаче, какое-то время почти в беспамятстве лежала на ледяном цементе.

* Меня продержали в одиночке после суда еще два месяца, вербуй в сексоты и соблазня досрочным освобождением, если докажу таким образом свою лояльность.

Отстали только после письменного отказа с напоминанием об отце.

Как скоро — не знаю, в камеру вошла вторая женщина — надзирательница из нашего коридора, Вера, похожая чем-то на Васильева-старшего, резкая, рослая, мужеподобная. Она подняла меня с полу, усадила на койку и спросила: "Сколько?" "Пять лет", — ответила я полуживыми губами. "Пять лет? И ты киснешь? Это разве срок? Да ты о нем думать забудешь в мои года! А у меня еще дети малые. Кому тут дают пять лет — в этом коридоре? Только вам и дали. Моему бы старшему — да ваши пять лет, а мне вон месяц назад похоронку прислали..." Трудно поверить, но она поила меня кипятком, заставляла что-то глотать и, мать погибшего, ни крохи злобы ко мне, живой, осужденной на какие-то жалкие пять лет, врагине того, за что погиб ее сын /так ей внушали, не могли не внушать на политзанятиях/, не таила. Горем своим /действительно: что такое пять лет в сравнении со смертью сына? Я сразу мысленно поставила маму на ее место/ она меня отрезвила и привела в чувство.

Расскажу еще об одном случае — о личном отношении к нашему "делу" человека, стоявшего много выше, чем Васильевы, Катя, Валя и Вера. Не исключено, что ему мы и были обязаны своим "детским" сроком. Усомниться, однако, в том, что неискупимых грехов /или неискупимых грехов не бывает?/ на его совести во много раз больше, чем полудобрых дел, учтя его должность, немислимо. Это мог быть и страшный человек /я почти ничего о нем не знаю/. Но, по-видимому, способность видеть и думать иногда мешала ему работать.

На одном из алма-атинских лагпунктов находился вместе со мной и дружил с моим первым мужем Георгий Донцов, лейтенант, которого осудили за "терроризм" на фронте, переквалифицированный потом в "хулиганство". Задним числом к нему применили послевоенную амнистию и освободили. Блистательное везение Жоры объяснялось просто: его родная сестра служила личным секретарем у замнаркома внутренних дел КазССР Сакенова. Жора на фронте подрался со своим командиром из-за "трофейной" канистры спирта. Лишившись "трофея", он пальнул в победителя из пистолета и ранил его. Мотаться бы этому "террористу" весь его

фантастический срок по особлагам, но пришли на помощь высокие связи сестры. На одном из свиданий с нею он что-то рассказывал ей о своих друзьях и обмолвился обо мне. "Дора Шток? — переспросила она. — Вчера я стенографировала заседание у замнаркома. Говорил Сакенов, а по радио читали статью Калинина — о том, что молодежь должна дерзать, идти своими путями, открывать новое, отстаивать спорное. Сакенов перестал говорить, прислушался, а потом сказал, будто бы про себя: "Молодежь должна дерзать, идти своими путями, а мы ее будем за это судить, как Дору Шток, и отправлять в лагерь..."

Я отлично помню Сакенова и все подробности своих двух встреч с ним.

Меня привели к нему в два часа ночи из кабинета Михайлова, дрожащую в преддопросном ознобе. Я не хотела никуда идти без своего следователя, которого уже не боялась. Капитан испросил по телефону разрешения явиться вместе со мной. Сакенова заинтересовало, почему я боялась идти без Михайлова. Я пыталась объяснить ему, что Михайлов обращается со мной по-человечески, а как будут обращаться другие, не знаю: может быть, станут бить...

На столе у Сакенова лежали мои тетради, отобранные при аресте, и он долго расспрашивал меня о содержании некоторых набросков. Именно он и разрешил Михайлову дать мне бумагу и карандаши для работы. И тут же предупредил, что все написанное будет оставлено в тюрьме, когда меня этапируют в лагерь. "Или освободят", — многозначительно добавил Михайлов: разговор-то происходил по окончании следствия, но до суда, а Михайлов все еще манил меня условным осуждением. Помню, что Сакенов не откликнулся на его реплику, а у меня сжалось сердце при слове "лагерь": значит, осудят...

Однажды, возможно, во время какого-то инспекторского обхода, Сакенов вошел в мою камеру, долго перебирал исписанные листки и полувопросительно заключил: "Собрание сочинений Доры Шток?.." Это был молодой, красивый казах с резкими чертами лица — точь-в-точь как у татарского

хана в "Рублеве", в сцене разгрома русскими православного храма враждебного княжества. По такому лицу нельзя судить о характере человека: в нем значительность не исключает коварства, а независимость — жестокости. Но к его реплике по поводу речи Калинина я ничего не добавила, а сестру Жору Донцова подозревать во лжи не приходится.

Все это исключения, но исключения такого рода, о которых я не имею права забыть. В моей лагерной жизни тоже встречались странные люди с той стороны рва. Но здесь речь не о лагере.

7.

Неизбежной журнальной скороговоркой я не смогу рассказать о том, какое отношение к нашему "делу" имел Борис Пастернак. Мои тогдашние работы о нем вызвали интерес не только у студентов, но и у специалистов, хотя и были, вне всяких сомнений, юношески незрелыми. Они явились итогом обширных текстологических исследований, и их нелегко повторить в рамках воспоминаний о нашем "деле". Здесь уместно восстановить лишь их судьбу, законченную или имеющую впереди какое-то продолжение, я еще не знаю.

Первый раз у меня отобрали мои заметки о Пастернаке при аресте. Второй раз я оставила восстановленные наброски в тюрьме, перед этапом. В этом варианте они относились, в основном, лишь к поэтике Пастернака, не затрагивали проблем мировоззренческих и социально-исторических. Третий раз я написала их в лагере и передала при свидании маме, которая в смертельном испуге сожгла их, как только добралась до дому. Затем я восстановила, существенно их дополнив, все свои предарестные работы, в том числе и о Пастернаке, в глухом селе Князеве, где три года учительствовала, скрыв судимость. Однажды меня вызвали в сельсовет — к приехавшему из райцентра "участковому", заинтересованному моей перепиской с лагерными друзьями. Я испугалась и бросила в печь перед тем, как отправиться в сельсовет, все свои тетради: по комнате топала двухлетняя дочь.

В 1959 году, в тяжкий для меня час расставания с дорогим человеком, я ухитрилась забыть в телефонной кабине одного из почтовых отделений Харькова три толстые тетради: стихи и уже более или менее зрелые свои статьи, среди них — и работу о Пастернаке, опять восстановленную. Тетради канули в неизвестность, а я улеглась в сердечное отделение областной больницы. Еще два раза при сигналах опасности я уничтожала то, что не успевали унести из дому. Последнее "аутодафе" моим рукописям суждено было в канун эмиграции из СССР. Тогда сгорели десятки тетрадней — все, что не удалось предварительно переправить.

После 1959 года я не возвращалась к пастернаковской теме, но никогда не расставалась с его стихами. Сорок лет моей жизни были проникнуты ими.

Повторяю: я боюсь очерковой скороговорки, боюсь внести в свое тогдашнее восприятие Пастернака нынешний опыт, поэтому расскажу здесь только историю моего криминального университетского доклада о нем. Прочитанный сначала на литературном кружке, он взбудоражил студентов, и потом я часами читала им в общежитии стихи Пастернака. Затем реферат мой был повторен на заседании кафедры русской литературы КазГУ. Студентам разрешили присутствовать. Их было так много, что они стояли на подоконниках и на стульях, сидели на столах и на полу. Только у двух человек доклад в тот вечер вызвал открытую реакцию страха за легкомысленного оратора: у моей мамы, сидевшей в первом ряду, и у академика Берковского, работавшего в КазГУ в годы эвакуации. Э. П. Гомберг-Вержбинская, тогда — руководитель нашей студенческой литературной студии, недавно писала мне, что и ее преследовал страх за меня, ее ученицу, но что меня бесполезно было удерживать. Это правда. От маминого: "Ты с ума сошла!" — я попросту отмахнулась. Академик Берковский в своем выступлении советовал мне не отклоняться от занятий поэтикой Пастернака, в которой мною уловлены интересные вещи, в социальную проблематику, в "историю СССР". Мне нескоро стали понятны тогдашняя интонация Берковского и грусть на его милом лице. Его со-

вет был воспринят в штыки и докладчиком, и аудиторией. Берковский замолчал, чтобы не превратить предостережение в донос на безрассудных своих оппонентов.

По убеждению доносителя-литературоведа профессора В-го, в моих работах о Пастернаке к "политике" имело отношение достаточно многое. Он-то хорошо понимал ход, строй и возможные пути развития наших очень незрелых мыслей. Позже Михайлов бульдожьей хваткой вцепился в два-три пункта доклада, наиболее доступные его пониманию. По окончании следствия он ввел в обвинительное заключение в примитивных формулировках два "историко-литературных" тезиса: по утверждению обвиняемых, Пастернак критически относится к октябрьской революции, а Маяковский застрелился потому, что разочаровался в "нашей советской действительности" /последнее вполне соответствовало и нашим убеждениям, и советской действительности/...

Когда-нибудь, может быть, мне удастся наново написать о своем тогдашнем восприятии Поэта, чьи стихи предопределили столь многое в моей судьбе и в чью дверь я так и не осмелилась постучаться.

Мы предлагаем вниманию читателей два рассказа и несколько стихотворений Даниила Хармса, одного из самых талантливых представителей авангардистской группы обериутов конца двадцатых годов. Молодые ленинградские поэты и прозаики Д.Хармс, А.Введенский, Н.Заболотский и др., принадлежащие к обериутам, были страстными поклонниками и учениками Велемира Хлебникова. Не удивительно, что в Советском Союзе произведения обериутов давно преданы забвению. Однако на Западе интерес к ним за последние годы несомненно возрос. Произведения Хармса и Введенского все чаще появляются в зарубежных русских изданиях. Стихи А.Введенского публиковались в нашем журнале /29, 1978/.

Даниил ХАРМС

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ

О ТОМ, КАК МЕНЯ ПОСЕТИЛИ ВЕСТНИКИ

В часах что-то стукнуло, и ко мне пришли вестники. Я не сразу понял, что ко мне пришли вестники. Сначала я подумал, что испортились часы. Но тут я увидел, что часы продолжают идти и, по всей вероятности, правильно показывают время. Тогда я решил, что в комнате сквозняк. И вдруг я удивился: что же это за явление, которому неправильный ход часов и сквозняк в комнате одинаково могут служить причиной? Раздумывая об этом, я сидел на стуле около дивана и смотрел на часы. Минутная стрелка стояла на девяти, а часовая около четырех, следовательно было без четверти четыре. Под часами висел отрывной календарь, и листики календаря колыхались, как будто в комнате дул сильный ветер. Сердце мое стучало, и я боялся потерять сознание.

"Надо выпить воды", — сказал я. Рядом со мной на столике стоял кувшин с водой. Я протянул руку и взял этот кувшин.

"Вода может помочь", — сказал я и стал смотреть на воду.

Тут я понял, что ко мне пришли вестники, но я не могу отличить их от воды. Я боялся пить эту воду, потому что, по

ошибке мог выпить вестника. Что это значит? Это ничего не значит. Выпить можно только жидкость. А вестник — разве жидкость? Значит, я могу выпить воду, тут нечего бояться. Но я не мог найти воды. Я ходил по комнате и искал ее. Я попробовал сунуть в рот ремешок, но это была не вода. Я сунул в рот календарь — это тоже не вода. Я плюнул на воду и стал искать вестников. Но как их найти? На что они похожи? Я помнил, что не мог отличить их от воды, значит, они похожи на воду. Но на что похожа вода? Я стоял и думал.

Не знаю, сколько времени стоял я и думал, но вдруг я вздрогнул.

"Вот вода!", — сказал я себе. Но это была не вода, это просто зачесалось у меня ухо.

Я стал шарить под шкафом и под кроватью, думая хотя бы там найти воду или вестника. Но под шкафом я нашел среди пыли только мячик, погрызенный собакой, а под кроватью — какие-то стеклянные осколки.

Под стулом я нашел недоеденную котлету. Я съел ее, и мне стало легче. Ветер уже почти не дул, а часы спокойно тикали, показывая правильное время: без четверти четыре.

— Ну, значит, вестники уже ушли, — сказал я себе и начал переодеваться, чтобы идти в гости.

22 августа 1937 года.

ВЕЩЬ

Мама, папа и прислуга по названию Наташа сидели за столом и пили.

Папа был несомненно забулдыга. Даже мама смотрела на него свысока. Но это не мешало папе быть очень хорошим человеком. Он добродушно смеялся и качался на стуле. Горничная Наташа, в наколке и передничке, все время невозможно смеялась. Папа веселил всех своей бородой, но горничная Наташа конфузливо опускала глаза, изображая, что она смеется.

Мама, высокая женщина с большой прической, говорила

лошадиным голосом. Мамин голос трубил в столовой, отзываясь на дворе и в других комнатах.

Выпив по рюмочке, все на секунду замолчали и поели колбасы. Немного погодя все опять заговорили.

Вдруг, совершенно неожиданно, в дверь кто-то постучал. Ни папа, ни мама, ни горничная Наташа не могли догадаться, кто это стучит в дверь.

— Как это странно, — сказал папа. — Кто бы там мог стучать в дверь?

Мама сделала соболезнующее лицо и не в очередь налила себе вторую рюмочку, выпила и сказала:

— Странно.

Папа ничего не сказал плохого, но налил себе вторую рюмочку, выпил и встал из-за стола.

Ростом был папа невысок. Не в пример маме. Мама была высокой, полной женщиной с лошадиным голосом, а папа был просто ее супруг. В добавление ко всему прочему, папа был веснушат. Он одним шагом подошел к двери и спросил:

— Кто там?

— Я, — сказал голос за дверью. Тут же открылась дверь и вошла горничная Наташа, вся смущенная и розовая. Как цветок, как цветок.

Папа сел.

Мама выпила еще.

Горничная Наташа и другая, как цветок, зарделись от стыда. Папа посмотрел на них и ничего не сказал плохого, а только выпил, так же, как и мама.

Чтобы заглушить неприятное жжение во рту, папа вскрыл банку консервов с раковым паштетом. Все были очень рады, ели до утра. Но мама молчала, сидя на своем месте. Это было очень неприятно.

Когда папа собирался что-то спеть, стукнуло окно. Мама вскочила с испуга и закричала, что ясно видит, как с улицы в окно кто-то заглянул. Другие уверяли маму, что это невозможно, так как их квартира в третьем этаже, и никто с улицы в окно посмотреть на может. Для этого надо быть великаном или Голиафом.

Но маме взбрела в голову крепкая мысль. Никто на свете не мог ее убедить, что в окно никто не смотрел.

Чтобы успокоить маму, ей налили еще одну рюмочку. Мама выпила рюмочку. Папа тоже налил себе и выпил.

Наташа и горничная как цветок сидели, потупив глаза от конфуза.

— Не могу быть в хорошем настроении, когда на нас смотрят с улицы через окно, — кричала мама.

Папа был в отчаянии, не зная, как успокоить маму. Он сбегал даже на двор, пытаясь заглянуть оттуда хотя бы в окно второго этажа.

Конечно, он не мог дотянуться. Но маму это нисколько не убедило. Мама даже не видела, как папа не мог дотянуться до окна всего лишь второго этажа.

Окончательно расстроенный всем этим, папа вихрем влетел в столовую и залпом выпил две рюмочки, налив рюмочку маме.

Мама выпила рюмочку, но сказала, что пьет только в знак того, что убеждена, что в окно кто-то посмотрел.

Папа даже руками развел.

— Вот, — сказал он маме и, подойдя к окну, растворил настежь обе рамы.

В окно попытался влезть какой-то человек в грязном воротничке и с ножом в руках. Увидя его, папа захлопнул рамы и сказал:

— Никого нет там.

Однако человек в грязном воротничке стоял за окном и смотрел в комнату и даже открыл окно и вошел.

Мама была страшно взволнована. Она грохнулась в истерику, но, выпив немного предложенного ей папой и закусив грибочком, успокоилась.

Вскоре и папа пришел в себя. Все опять сели к столу и продолжали пить.

Папа держал газету и долго вертел ее в руках, ища, где верх и где низ. Но сколько он не искал, так и не нашел, а потому отложил газету в сторону и выпил рюмочку.

— Хорошо, — сказал папа, — но не хватает огурцов.

Мама неприлично заржала, отчего горничные сильно сконфузились и принялись рассматривать узор на скатерти.

Папа выпил еще и вдруг, схватив маму, посадил ее на буфет.

У мамы взбилась седая пышная прическа, на лице проступили красные пятна и, в общем, рожа была возбужденная.

Папа подтянул свои штаны и начал тост. Но тут открылся в полу люк, и оттуда вылез монах.

Горничные так переконфузились, что одну начало рвать. Наташа держала свою подругу за лоб, стараясь скрыть безобразие.

Монах, который вылез из-под стола, прицелился кулаком в папино ухо, да как треснет!

Папа так и шлепнулся на стул, не окончив тоста.

Тогда монах подошел к маме и ударил ее как-то снизу не то рукой, не то ногой.

Мама принялась кричать и звать на помощь.

А монах, схватив за шиворот обеих горничных и помотав ими по воздуху, отпустил.

Потом, никем не замеченный, монах скрылся под пол и закрыл за собою люк.

Очень долго ни мама, ни папа, ни горничная Наташа не могли прийти в себя, но потом, отдышавшись и приведя себя в порядок, они все выпили по рюмочке и сели за стол закутить шинкованной капусткой.

Выпив еще по рюмочке, все посидели, мирно беседуя.

Вдруг папа побагровел и принялся кричать:

— Что! Что! — кричал папа, — вы считаете меня за мелочного человека! Вы смотрите на меня как на неудачника! Я вам не приживальщик! Сами вы негодяи!

Мама и горничная Наташа выбежали из столовой и заперлись на кухне.

— Пошел, забулдыга! Пошел, чертово копыто! — шептала мама в ужасе окончательно сконфуженной Наташе.

А папа сидел в столовой до утра и орал, пока не взял папку с делами, одел белую фуражку и скромно пошел на службу.

31 мая, 1929.

ВАННА АРХИМЕДА

"Эй, Махмет,
гони мочало,
мыло дай сюда, Махмет", —
крикнул, тря свои чресала,
в ванне сидя, Архимед.
"Вот извольте, повелитель,
вам суворовскую мазь."
"Ладно, — молвил Архимед,
сам ко мне ты в ванну влазь."
Влез Махмет на подоконник,
расчесал волос пучки,
Архимед же, греховодник,
осторожно снял очки.
Тут Махмет подпрыгнул.
"Мама!" —

крикнул мокрый Архимед.
С высоты огромной прямо
в ванну шлепнулся Махмет.
"В наше время нет вопросов,
каждый сам себе вопрос, —
говорил мудрец курносый,
в ванне сидя как барбос. —
Я, к примеру, наблюдаю
все научные статьи,
В размышлениях витаю
по три дня и по пяти.

Целый год не слышу крика, —
веско молвил Архимед, —
Но, — прибавил он, — потри-ка
мой затылок и хребет.
Впрочем, да, — сказал потом он, —
и в искусстве, впрочем, да...
Я туда, в искусстве оном,
погружаюсь иногда.
Как-то я среди обеда

прочитал в календаре:
 выйдет "Ванна Архимеда
 в декабре иль в январе". —
 Архимед сказал угрюмо
 и бородку в косу вил, —
 Да, Махмет, не фунт изюму, —
 вдруг он присовокупил. —
 Да, Махмет, не фунт гороху, —
 в посрамленьи умереть!
 Я в науке сделал кроху,
 а теперь загажен весь.
 Я загажен именами
 знаменитейших особ,
 и скажу тебе меж нами,
 формалистами в особь,
 но и роза подкачала...
 Да, Махмет, Махмет, Махмет...
 Эй, Махмет, гони мочало!" —
 басом крикнул Архимед.
 "Вот оно, — сказал Махмет, —
 Вымыть вас?" — промолвил он.
 "Нет, — ответил Архимед
 и прибавил: вылазь вон!"

Все

7 октября 1929 года.

ГЛОБ И СЕЛЛЕЙ

Глоб: Я руку протянул и крикнул:
 вот потеха!
 Стоял тут некогда собор,
 А нынче веха!

А тут когда-то был пустырь,
 А нынче — школа.
 А там когда-то монастырь святителя Николы,
 А ныне только сад фруктовый
 Качает сочные плоды,
 Да храм Святителя Николы
 Стоит в саду без головы.

Селлей: Молчи, молчи, безумный Глоб!
 Не то пуцу тебе я пулю в лоб.
 Довольно ныть. И горю есть предел.
 Но ты не прав, напрасно ноешь.
 Ты жизни ходы проглядел.
 Ты сам себе могилу роешь.

Глоб: Какие жизни ходы?
 Селлей, Селлей!
 Нам не открыть закон природы,
 Селлей, Селлей!
 Пройдет с годами увлеченье,
 Устанет ум,
 Селлей, Селлей!
 Забудет мир свое ученье
 И сладость дум,
 Селлей, Селлей!

1937

"ЗЛОЕ СОБРАНИЕ НЕВЕРНЫХ"

Не я ли, Господи, подумали апостолы
 Вот признаки: лицо, как мышь,
 Крыло, как нож,
 Ступня, как пароходик,
 Дом, как семейство,
 Мост, как полвинта,

Халат, как бровь атланта,
 Один лишь гений. Да, но кто же?
 Один умен, другой тупица, третий глуп
 Но кто же гений? Боже, Боже!
 Все люди бедны. Я тулуп.

1930, 17 января

ОН И МЕЛЬНИЦА

Он: Простите, где дорога в Клонки?
 Мельница: Не знаю,
 Шум воды отбил мне память;
 Он: Я вижу путь железной конки.
 Где остановка?
 Мельница: Под липой.
 Там даже мой отец сломал себе ногу.
 Он: Вот ловко!
 Мельница: Ей-Богу!
 Он: А ныне ваш отец здоров?
 Мельница: О да, он учит азбуке коров.
 Он: Зачем же тварь учить
 значкам?
 Кто твари мудрости заря?
 Мельница: Букварь.
 Он: Зря, зря.
 Мельница: Поднесите к очкам
 мотылька.
 Вы близоруки?
 Он: Очень.
 Вижу среди тысячи предметов...
 Мельница: Извините, среди сколько?
 Он: Среди тысячи предметов
 Только очень крупные штуки.
 Мельница: В мотыльке
 И даже в мухе

Есть различные коробочки,
 Расположенные в ухе.
 На затылке — пробочки.
 Поглядите.
 Он: Погодите.
 Запотели зрачки.
 Мельница: А что это торчит из ваших сапог?
 Он: Стручки.
 Мельница: Трите слева глаз направо.
 Он: У ты! Треснула оправа!
 Мельница: Я замечу вам: глаз не для
 развлечений разных дан.
 Он: Разрешите вас в бедро поцеловать не медля.
 Мельница: Ах, отстаньте, хулиган!
 Он: Вы жестоки. Что мне делать?
 Я ослеп.
 Дорогу в Клонки
 не найду.
 Мельница: И конки
 здесь не ходят на беду.
 Он: Вы обманщица.
 Вы недотрога.
 И впредь моя нога
 не переступит вашего порога.

1930.

Публикацию подготовил Глеб Урман.

РЕДАКЦИЯ ПРИНОСИТ БЛАГОДАРНОСТЬ ЧЛЕНУ РЕД-
 КОЛЛЕГИИ ЭФИМУ ЭТКИНДУ ЗА ПОДГОТОВКУ К ПЕЧА-
 ТИ ПИСЕМ П. МИЛЮКОВА, ОПУБЛИКОВАННЫХ В 51 И 52
 НОМЕРАХ НАШЕГО ЖУРНАЛА.

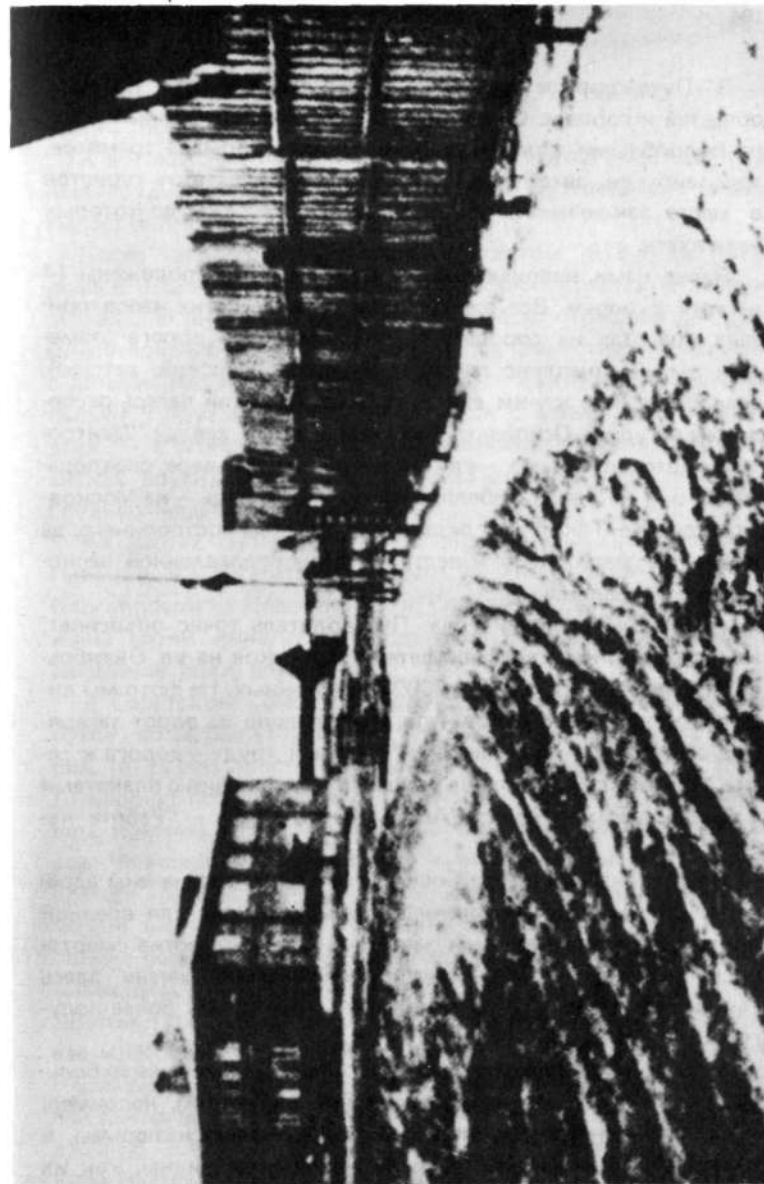
Абрам Шифрин, предложивший нашему журналу эту публикацию, многие годы провел в сталинских лагерях и тюрьмах, пройдя через тяжчайшие муки, выпавшие на долю узников Архипелага. Вырвавшись из России, он посвятил по существу всю свою жизнь разоблачению советского тоталитарного режима. Выступая на страницах многих западных изданий, А. Шифрин стремится показать, что с уходом Сталина не перестал существовать Архипелаг, продолжают действовать тюрьмы и лагеря, куда власти бросают инакомыслящих. В Израиле Абрам Шифрин основал и возглавил специальный Центр по исследованию лагерей, тюрем и психтюрем в СССР. Многогранная деятельность этого Центра все больше привлекает внимание общественности Запада к положению политических заключенных в Советском Союзе.

*Абрам ШИФРИН,
директор Центра исследования лагерей, тюрем
и психтюрем СССР*

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ГУЛАГУ

В чем-то, можно сказать, это — уникальная публикация, какие вряд ли знакомы современному читателю. На нескольких языках издан совершенно особый Путеводитель по Советскому Союзу: в нем даны точные адреса более чем двух тысяч концлагерей принудительного труда, тюрем и психтюрем, фотографии разрушенных церквей, колонн заключенных, лагерей, тюремных камер, — словом, перед нами живое и достовернейшее свидетельство того, что представляют собой на практике социалистическая демократия и гуманизм.

Этот Путеводитель — результат более чем трехлетней работы целой группы исследователей, в нем приведены показания нескольких тысяч опрошенных свидетелей. Так что турист, отправляющийся с ним в СССР и интересующийся положением заключенных, найдет в нем не только адреса советских концлагерей, но познакомится и с множеством небезынтересных для него деталей: каково число обитателей лагерей, какую работу они выполняют, каков режим их содержания и даже кто из их надзирателей проявляет особую жестокость и садизм.



Лагерь в станице Либинская Краснодарского края.

В Путеводителе приведена общая карта СССР и 120 карт областей и городов Советского Союза. Каждая из них снабжена подробными комментариями, указаны номера трамваев, троллейбусов, автобусов, которые могут доставить туристов в места заключения; указаны даже остановки, до которых надо ехать.

Перед нами, например, карта Одессы, где расположены 14 лагерей и тюрем. Все ли одесситы знают об этих неповторимых красотах их города? На Черноморской дороге размещен целый комплекс лагерей: мужской, женский, детский, а в дополнение к ним еще и тюрьма. Женский лагерь расположен на улице Осипенко, мужской — возле завода "Центролит", детская тюрьма — на Пролетарском бульваре, спецтюрьма КГБ — на улице Бабеля, а спецпсихбольница — на Московской дороге. Таков этот скрытый от взгляда постороннего, да и вообще мало кому известный лик прославленной черноморской здравницы.

А вот план города Орла. Путеводитель точно объясняет, как проехать к лагерю для детей-подростков на ул. Октябрьской, где находятся более 3000 заключенных. На фото мы видим колонну детей-арестантов, выходящую из ворот лагеря. Над воротами — транспарант: "Честный труд — дорога к семье". И невольно в голове рождается ассоциация с плакатами в гитлеровских лагерях: "Arbeit macht Frei" — "Работа несет свободу".

На специальной карте Советского Союза обозначены адреса 41 лагеря, где заключенные добывают уран для военной промышленности, не имея защитной одежды против смертоносных излучений. Это — лагеря уничтожения, "жизнь" здесь такова, что мало кто из заключенных выживает более полугода.

Есть в Путеводителе и специальная карта спецпсихбольниц-тюрем КГБ для инакомыслящих. Мы видим, например, этих заключенных во дворе Орловской спецпсихтюрьмы, в камере "больницы" им. Кашенко в Москве, видим, как их везут на машине Советского Красного Креста, мы читаем

свидетельства абсолютно здоровых людей, которых советская власть "приговорила к сумасшествию".

А вот женские лагеря, где матери находятся вместе со своими грудными детьми, таких лагерей Путеводитель насчитывает более 150.

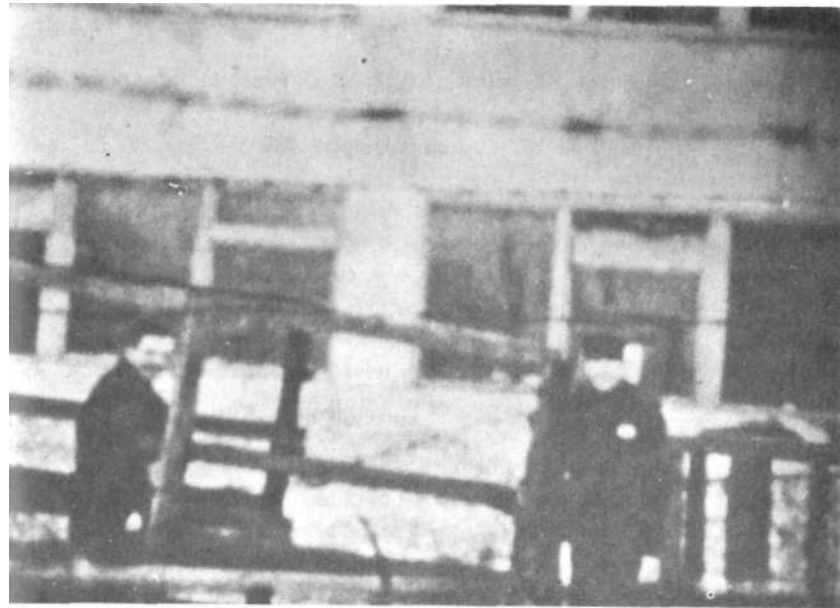
После частичного опубликования, летом 1979 года, материалов нашего Центра об этих лагерях, советские власти вначале, в течение двух месяцев, вообще отрицали факт их существования, а потом... объявили амнистию женщинам с детьми. Но, как говорят в России, "свято место пусто не бывает": идут новые аресты женщин с детьми, и в лагерях этих — в Минске, в Кочмасае, в Вологде, в Павлодаре, в десятках других мест слышны снова стоны матерей и крики грудных младенцев.

На картах Путеводителя мы видим целые "россыпи" лагерей: в Архангельской области, в Управлениях Онеглага, Каргопольлага, Плесецклага и Сольвычегодсклага расположены сотни концлагерей, где идет добыча и переработка алюминия, соли, древесины.

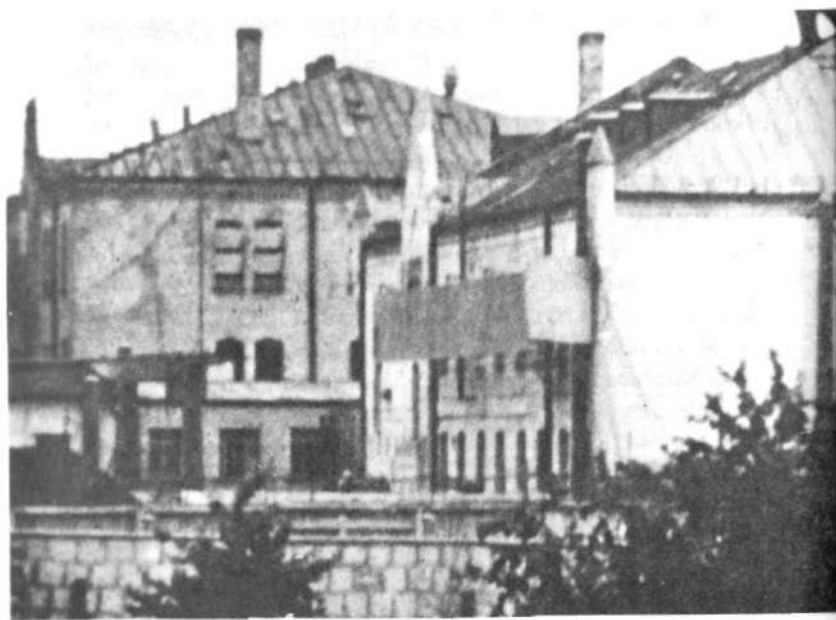
В Советском Союзе существуют тысячи туристских маршрутов, но маршруты нашего Путеводителя, как я уже говорил, не так-то просто обнаружить глазу постороннего. Власти хорошо позаботились о том, чтобы тщательно замаскировать красоты ГУЛага. Когда вы, например, приезжаете в город Черновицы, гид местного туристского бюро ведет вас прежде всего к памятнику освобождения Буковины, но мало кто знает о том, что тут же, на Советской площади, расположена большая тюрьма, скрытая громадным щитом, рассказывающим о растущем благосостоянии советских людей. Другой туристский маршрут в тех же Черновицах выводит вас на Красноармейскую улицу, вы идете до пересечения ее с улицей Шевченко, и тут перед вами открывается любопытная панорама: католический костел, превращенный властями в склад. Однако вы еще не знаете, что тут же рядом расположена тщательно замаскированная тюрьма КГБ. Чтобы ее увидеть, объясняет Путеводитель, надо выйти на параллельную



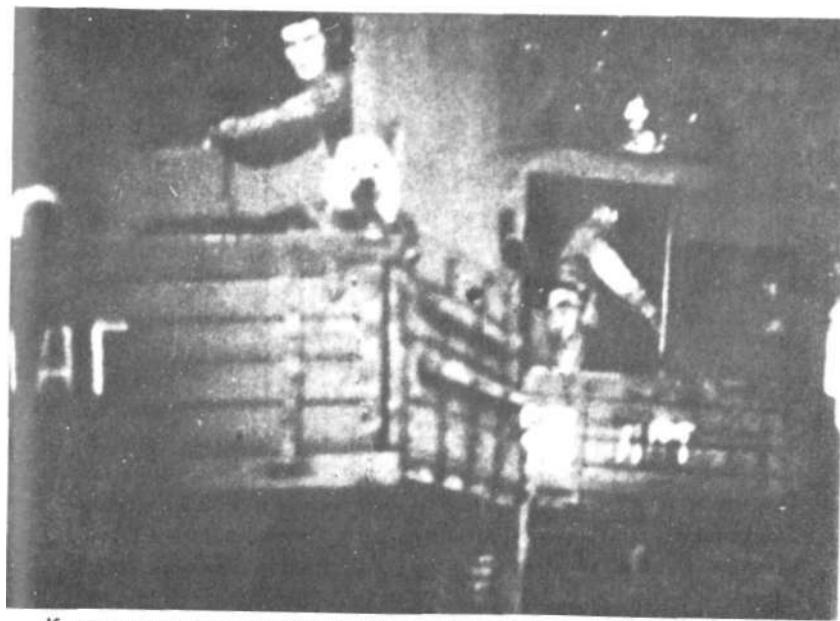
Справочный указатель к лагерю в Риге.



Заключенные в лагерной зоне в гор. Рига.



Тюрьма-лагерь в Риге.

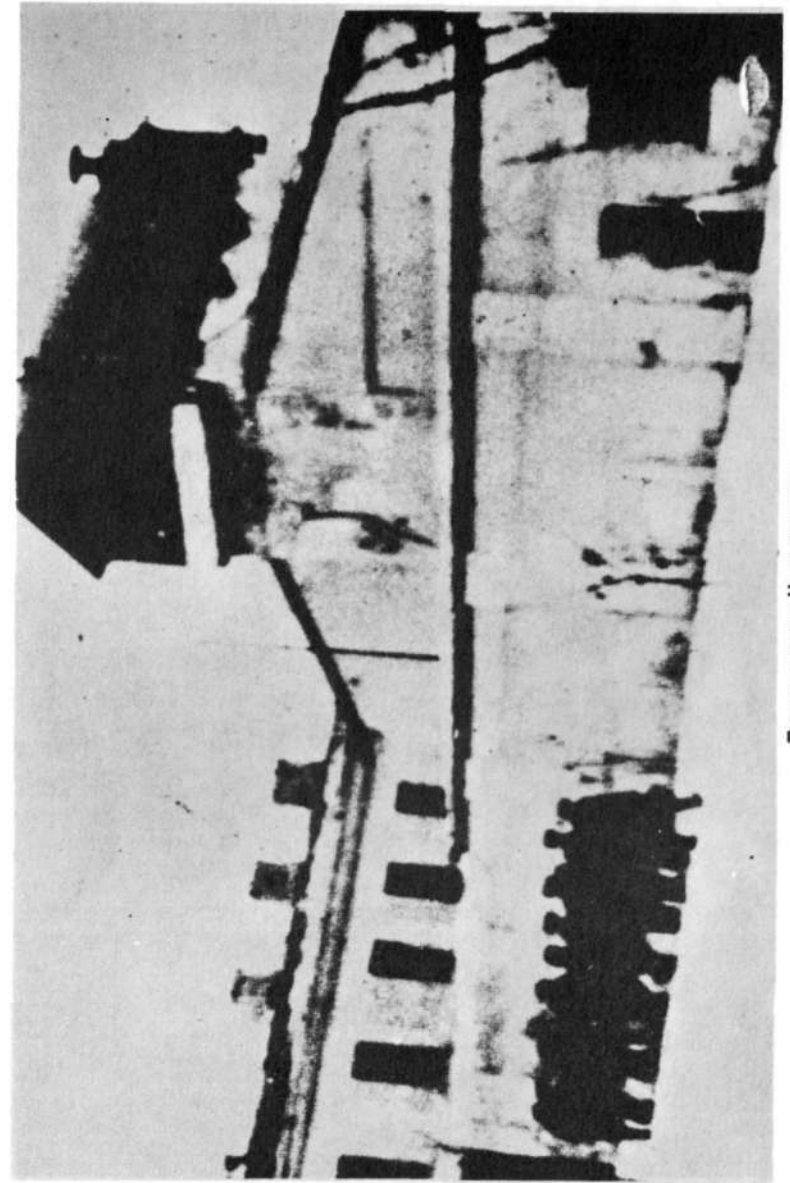


Колонна грузовиков переоборудована для транспортировки заключенных.

улицу Богомольца и войти в дом № 28. Оттуда, из окон лестничных клеток, как раз и видна тюрьма.

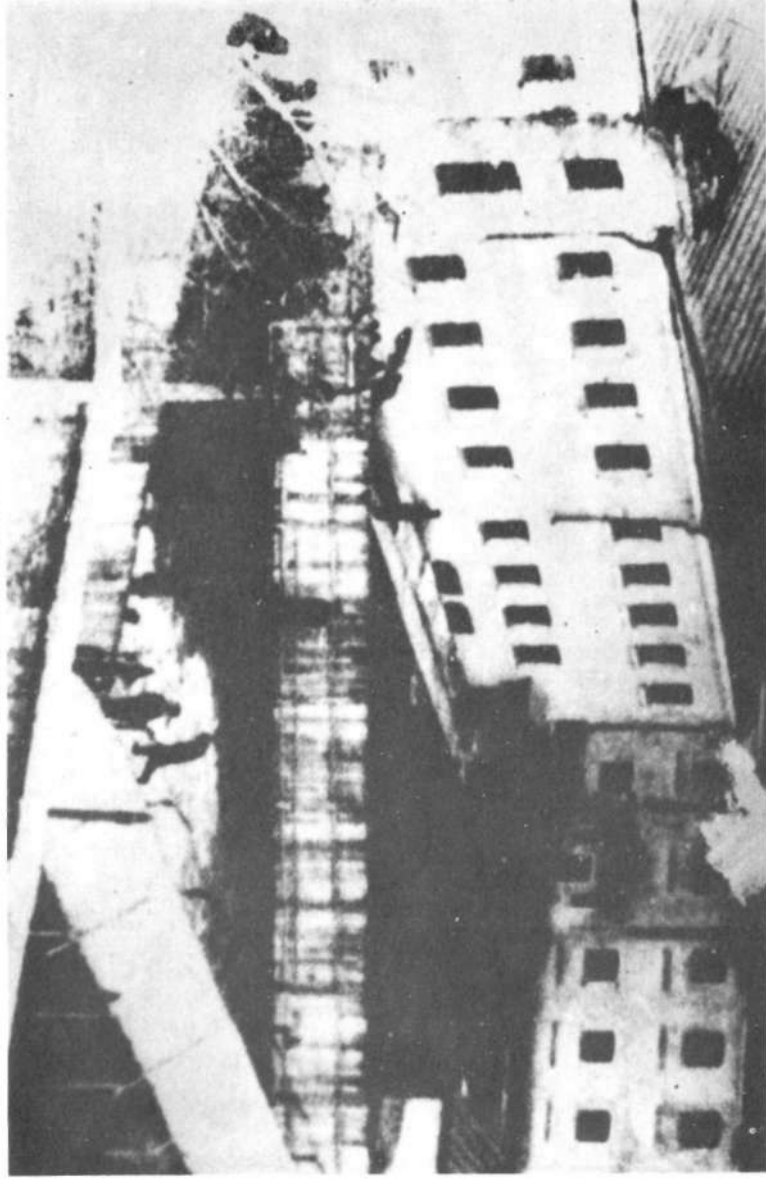
Путеводитель по ГУЛагу иллюстрирован более, чем 50 фотографиями лагерей, тюрем, психтюрем: колонны заключенных с номерами на груди, полосатая одежда, бритые головы, истощенные лица, могилы с номерами похороненных узников, "воронки", грузовики, закрытые фанерой и с лицами, глядящими сквозь решетку, и руки заключенных на этих решетках, женщины на лесоповале, мужчины на стройке железнодорожной линии БАМ, печально знаменитые тюрьмы — Лубянка, Лефортово, Бутырки в Москве и даже Пугачевская башня, где расстреливают смертников... И даже бокс в коридоре центральной спецтюрьмы КГБ, и даже камеру в Лефортовской тюрьме могут увидеть туристы. Разумеется, такие снимки могли сделать лишь те, кто работает в КГБ, а, значит, и здесь есть люди, стремящиеся показать миру преступления советской власти.

Москва — столица Советского Союза. То, что она — крупный культурно-научный центр, что она промышленный центр и город университетов — кому об этом не известно. Но что Москва — крупнейший в мире центр тюрем и лагерей, — об этом, может, впервые рассказывает Путеводитель. Итак, перед нами план и подробные пояснения для туристов — как им проехать к 31 месту заключения столицы. "Туристские маршруты" проиллюстрированы тайно сделанными фотографиями. Вот два здания тюрьмы на Лубянке с заборами на крыше, скрывающими вышки охраны над прогулочными дворами, и памятником Дзержинскому над подземными камерами, расположенными под площадью, на которой имеют возможность погулять туристы... Есть фотография "Бутырок", о ликвидации которых было официально объявлено советским правительством еще в 1963 году. Теперь "Бутырки" скрыты от взглядов любопытных высокими жилыми домами для сотрудников КГБ и МВД, построенными вокруг тюрьмы. Фотокамера, однако, показывает нам примерно 25 корпусов "Бутырок", снятых с высоты птичьего полета, видна и Пугачевская башня — место ночных расстрелов заключенных.

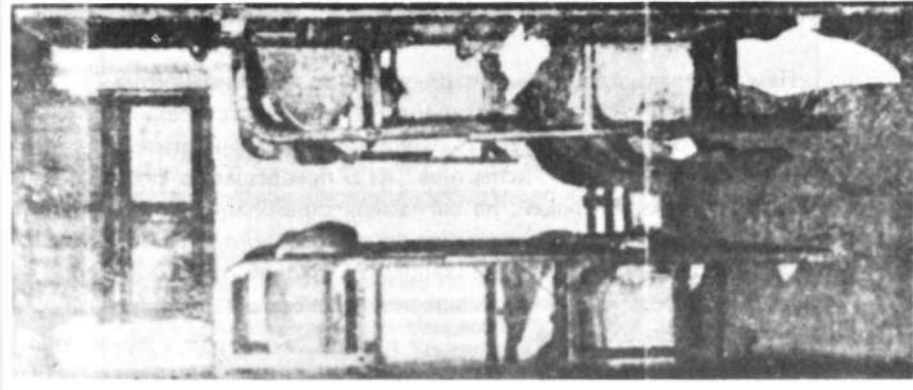
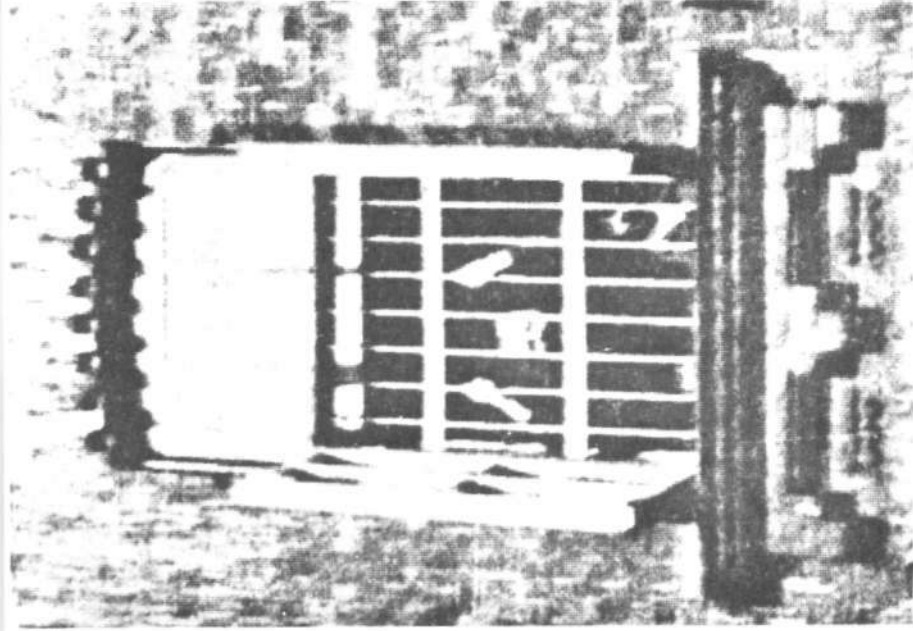


Психтюрьма в Черниговске.

Орловская психтюрьма.



Заклочен-
ный в од-
ной из
псих-
больниц



Камера
в Лефор-
товской
тюрьме

Нам предлагаются точные маршруты и к тюремному комплексу на улице "Матросская тишина", к мрачным строениям Лефортовской тюрьмы КГБ, к психиатрическому институту имени Сербского /где "экспертиза" КГБ превращает в сумасшедших здоровых людей, не согласных с режимом/, к "ведомственным" тюрьмам для работников транспорта, к тюрьмам, расположенным под вокзалом, к этапной тюрьме на Красной Пресне, к целому комплексу психбольниц, превращенных в спецпсихтюрьмы.

Из Путеводителя мы узнаем, что в Москве есть места, где над заключенными проводятся запрещенные опыты: неподалеку от метро "Кутузовская" расположено 12-этажное здание Института крови, и там, на 12 этаже, лаборатория-тюрьма, где живые люди выполняют роль подопытных кроликов.

Вот так ведет Путеводитель туристов по скрытым от людей местам заключения столицы, ведет под музыку балета Большого театра и бой Кремлевских курантов, а вокруг Москвы, — целая страна ГУЛага: более 20 лагерей, тюрем и психтюрем. Воистину столичный размах!

Фотографии взяты из Путеводителя по ГУЛагу, который в ближайшее время выходит в свет.

Григорий Свирский

НА ЛОБНОМ МЕСТЕ

(ЛИТЕРАТУРА НРАВСТВЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 1946-1978 гг.)

Эта книга, с исключительно яркой, полемически острой манерой письма, есть в первую очередь и следованье и послевоенной литературы. Причем, несомненно, исследование событийного значения. Г. Свирский вдумчиво, проникновенно «читает» официально изданные произведения В. Некрасова, В. Пановой, Д. Гранина, В. Гроссмана, В. Дудинцева, В. Тендрякова и др. ...И оказывается, что каждый из них открыл какую-нибудь из проблем эпохи, показал ту или иную сторону советского действительного бытия. Попутно автор снимает с пласта настоящей литературы шелуху обвинений в постыдных уступках и компромиссах с властями, в иллюстративности партийно-правительственных решений.

Захватывающе интересны страницы, посвященные творчеству и личностям Ахматовой, Паустовского, Оренбурга, Солженицына, авторам самиздата, бардам «магнитофонной революции, историческому значению журнала Твардовского «Новый мир».

«На лобном месте» — одновременно и мемуарные записки современника. Обладая незаурядными памятью и талантом, Г. Свирский воспроизводит атмосферу литературной жизни России сталинского, хрущевского и брежневского периодов. «Он передает разговоры вокруг каждого литературного события, — пишет в предисловии к книге проф. Е. Эткинд, — а порой и необходимые для «живого контекста» анекдоты, эпиграммы, даже слухи». Отмечая далее, что в истории литературы часто пропадают атмосферные явления, окружающие писателей и их книги, проф. Эткинд заключает: «Благодаря Смирновой, Панаевой, Никитенке, Гречу мы знаем кое-что о литературной жизни прошлого века. Благодаря Свирскому останется в памяти атмосфера послевоенного тридцатилетия».

С познавательной точки зрения, книга представляет несомненный интерес как для массового читателя, так и для славистов, изучающих современную русскую литературу.

Англия 1979. 620 стр. Мягк. пер. ДМ 40. — Тв. пер. ДМ 48 —

Пересылка за счет заказчика

Требуйте бесплатно наш большой каталог 1979/80



A. Neimanis • Buchvertrieb GmbH
 8 München 40 • Bauerstr. 28 • Germany

Тел. 37-05-34

Лариса ГЕРШТЕЙН

СУЕТА СУЕТ

О Евгении Абезгаузе неоднократно писали в израильской прессе, в советских и самиздатовских изданиях, американских журналах и европейских каталогах к выставкам.

Достаточно один раз увидеть работы Абезгауза, чтобы не перепутать его ни с каким другим художником.

Ранние картины... Россия. Галут. Чем отличается современный ленинградский еврей-интеллигент от местечкового портного с раскинутыми на фоне пожара руками? /"А погром в этом году был особенно жесток... Что поделаешь?"/ Чем отличается? Да ничем! В каждом типаже художника мы видим и узнаем нас, прошлых.

Картины Абезгауза демонстративно театральны. Задник этого театра — Россия. На сцене — евреи. Вся жизнь проходит и уходит на фоне России. Чтобы создать этот театральный задник, автор взял за основу народную лаковую живопись. Яркие пятна и лаконичные ритмы, свойственные русскому лубку и иконе, с обязательной тщательной проработкой рук и лиц персонажей. Только приглядитесь внимательно — фигуры людей не отбрасывают тени, на фоне лубочной, ярмарочной России не живут, а играют самих себя, скоморошествуют евреи, чужие и чуждые всему и даже самим себе. Для более глубокого выражения психологической мысли Абезгаузу понадобилась фраза, чтобы поставить ее в контраст с пластически изображенным действием на плоскости картины. Из контраста двух этих компонентов: литературного и изобразительного, и должен родиться образ. Родиться в голове зрителя, читающего фразу и рассматривающего изображение. Фраза, по отношению к изображению почти всегда провокационна, но психологически пронзительно точна: "И собрала Ева плоды с древа познания и съезла их... на рынок".

Механизм воздействия дуалистического метода в изобразительном искусстве был проверен еще Франциско Гойей. Национальная психология современника Гойи нашла свое выражение в "Капричиос": изображение /действие/ и рядом — острая и контрастная фраза. Вот

так же воздействуют на нас картины "русского" цикла Евгения Абезгауза: бьют под ложечку. И таким видел художник свой путь в "литературной живописи"...

Неисповедимы пути к пониманию творчества. Художник, конечно же, всю свою жизнь произносит монолог. Внутренние его силы вырываются наружу, материализуясь в книгах, сонатах, картинах...

Картины Абезгауза — монолог его жизни. Монолог — это, если хотите, характер плюс мировоззрение. А талант, в сущности, это эволюция личности. Характер дает возможность этой личности найти свой способ развиваться. Кроме того, на жизнь автора, естественно, влияет и место его жизни, место его пребывания. Бесспорно, уехав из России в Израиль, Евгений Абезгауз в чем-то стал другим. Хотя бы в том — и, может быть, главным — что углубился его интерес к Библии. Темы его сегодняшних картин те же: еврейство и человечество, но интерпретация существенно изменилась, и этот процесс кажется закономерным.

Может ли плоский, разрисованный кусок бумаги или холста, объяснить или заставить почувствовать что-либо из происходящего или уже происшедшего? Да, может. Представим себе понимание сути вещей по следующей схеме: факт — описание факта — истолкование факта.

Истолкование факта достигается двумя способами: изобразительным и философским, что, в сущности, равноценно, только нужно уметь читать и смотреть, чтобы чувствовать и понимать.

Как рассказывает сам Абезгауз, сначала все было проще: темы "русского" цикла являли собой иллюстрацию к психологии русского еврея. Русский еврей — это особый психологический феномен. Позже, объяснение этому феномену художник стал искать в Библии: "Горда была Юдифь, но печальна", "О приди, возлюбленный мой!..". От психологии автор шел к философии, постепенно почти исчезают атрибуты еврейского быта, и художник уходит от того, с чего начал, он идет от конкретного и недвусмысленного к символическому, философскому, Экклезиасту.

Экклезиаст, по Абезгаузу, — это возможность изобразительным способом истолковать некоторые философские концепции Библии: "Что может иметь человек от трудов своих?" "Все возвращается на круги своя..."

Увлечение одной из наиболее глубоких концепций Экклезиаста "Все есть суета сует" явилось причиной появления на свет новой серии картин: "Полет", "Верховая прогулка", "В погоне за удачей", "Готовность к восприятию" и др. Фигуры на картинах подчеркнуты нейтральны. Они утратили конкретность портретного образа и превратились в "функционирующий символ". Именно функция этого символа — то действие, которое производят фигуры — и есть пластическое решение философской концепции "Все есть суета сует и тщета". "Дщери иерусалимские" ловят свое счастье, хотя это всего лишь мыльные

пузыри, которые пускает некто там, за облаками... Символ тщеты — понятный образ — это, собственно, мыльный пузырь, такой конкретный, яркий, тонкий и звонкий. "Дщери иерусалимские" — символ народа, символ общества, символ человечества. Движение фигур, казалось бы, естественно и понятно, но в то же время они — бессмысленны, хотя в этом, наверное, и заключается трагедия и правда существования.

А вот другая картина этого цикла: "Дети Израиля". Пожалуй, единственной общей чертой этих столь разных людей является их странность. Из непреходящего ощущения этой странности как национальной черты вырастает неодолимое желание создать новый мир, чистый мир покоя. И вот рождается новый цикл: "Мир покоя". Здесь изображение выступает как бы в двух ипостасях: светящийся, геометрический объем — предмет, но объектом философской концепции является покой этого объема в равновесии цветовых пятен. Сама функция заключается в состоянии покоя предмета. Перед нами — "Сотворение мира", но уже другого мира — мира покоя. И тут же опять целый цикл картин: "Выбор", "В начале...", "Сотворение", "Расцвет", "Цветение", "Увядание"...

Как мыслит автор? Какими категориями? Категориями предметов, явлений быта, действий, или категориями живописных плоскостей — светом, цветом, движением, формой? Вопросы эти неизменно всякий раз встают перед тем, кто хочет понять Абезгауза.

Отстраненность от "реального" предметного мира, и маски, как и мы, зрители, поставленные перед выбором, вносят в его светящийся, сотворяющийся на наших глазах мир, — мистическую уверенность, что мы не одиноки...



Любовные игры (Из серии "Света свет")



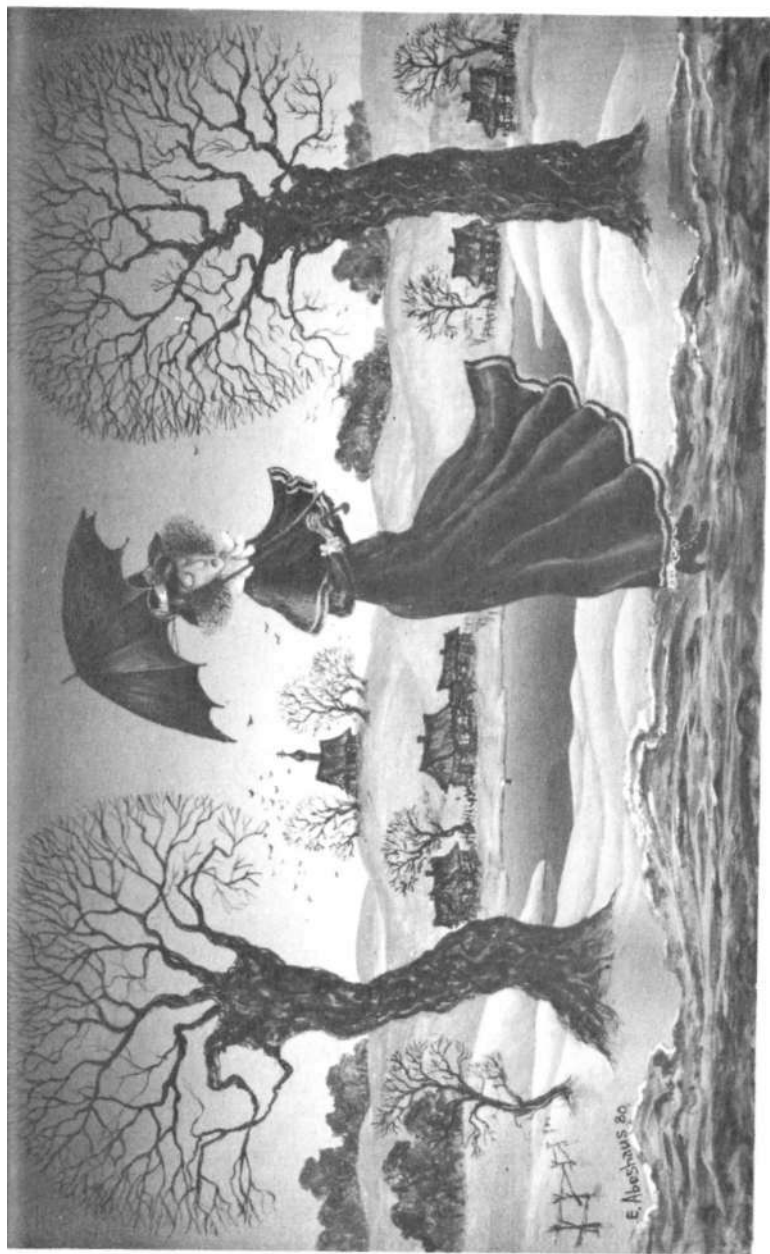
Готовность к восприятию (Из серии "Суета сует")



Дети Израиля (Из серии "Суета сует")



Ловля удачи (Из серии "Суета сует")



Русская прогулка (Из серии "Суета сует")



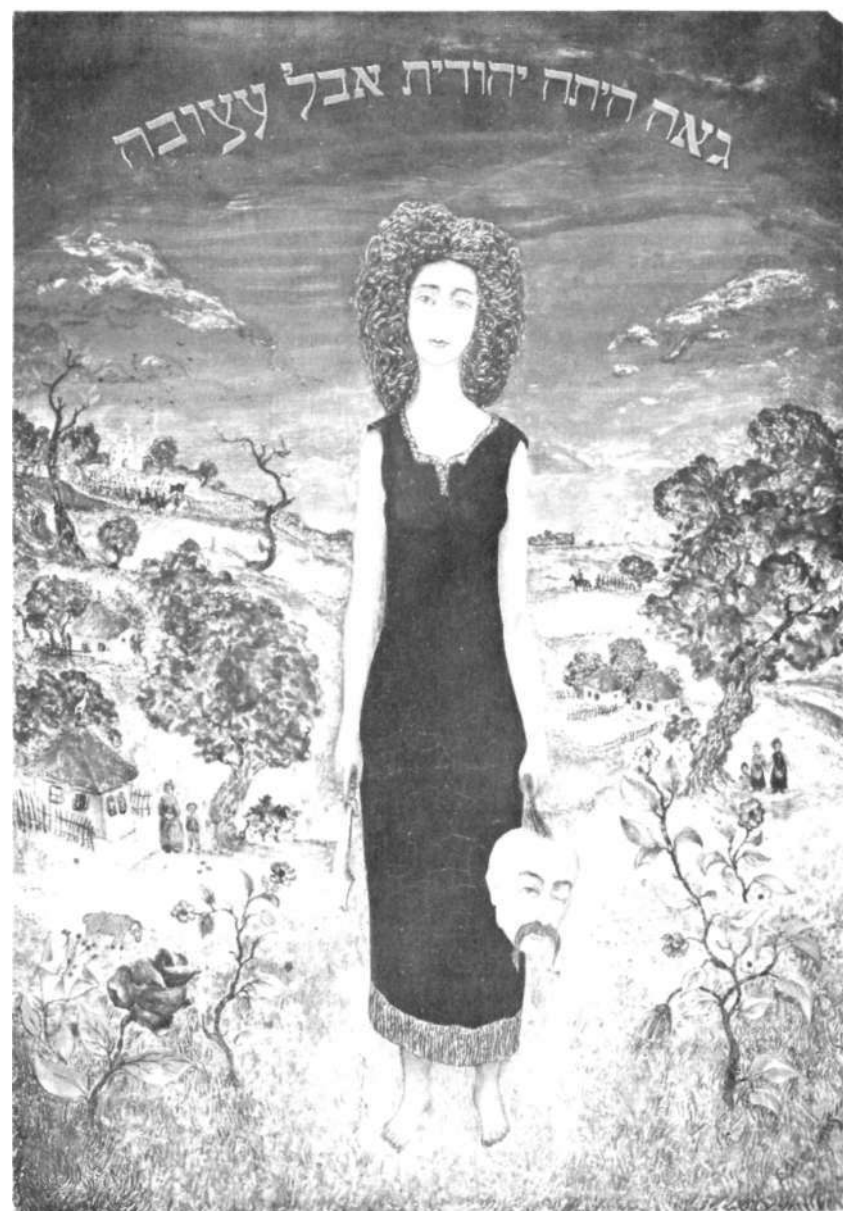
Полет (Из серии "Суета сует")



Верховая прогулка (Из серии "Суета сует")



"А погром в этом году был особенно жесток... Что подавешь?"



"Горда была Юдифь, но печальна".

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ. См. журнал № 50.

Владимир РЫБАКОВ. Родился во Франции в 1947 году. В 1957 году вместе с семьей переехал в СССР. (Родители были коммунисты). Там получил незаконченное высшее образование. Три с половиной года служил в армии на Дальнем Востоке (позже об этом была им написана книга "Тяжесть"). В 1972 году выехал во Францию. В настоящее время живет в Париже и работает в газете "Русская Мысль". В журнале "Время и мы" опубликовал повести "Александрийский мост" и "Враг".

Александр ТУЧКОВ. По образованию художник. Окончил институт в Ленинграде. Несколько лет назад эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. Живет в Нью-Йорке, работает ночным сторожем.

Леонид ИОФФЕ. Родился в 1943 году. До 1972 года жил в Москве. Окончил Московский государственный университет им. М. Ломоносова. В настоящее время живет в Иерусалиме. Печатался в иерусалимском журнале "Менора".

Илья БОКШТЕЙН. Поэт. Родился в 1937 году в Москве. Учился в Институте культуры. В августе 1961 года был арестован за публичные выступления на площади Маяковского. Отбыл в лагере пятилетний срок. В Израиль приехал в феврале 1972 года. В Советском Союзе Илья Бокштейн не публиковался, а в Израиле его стихи печатались в журналах "Сион", "Время и мы" и др.

Авраам Б. ИОШУА — выдающийся представитель молодого поколения израильских прозаиков. Родился в 1936 году в Иерусалиме. Окончил Иерусалимский университет, был директором израильской школы в Париже. В течение трех лет (1964—1967) возглавлял ассоциацию еврейских студентов в Париже. После Шестидневной войны был деканом в Хайфском университете, где преподает литературу до настоящего времени. Удостоен литературной премии Рамат-Гана, премии Главы Правительства. Печатается в толстых литературных журналах Израиля: "Кешет" ("Радуга"), "Ахшав" ("Сейчас"), "Симан криа" ("Знак препинания") и других. А. Б. Иошуа — автор сценария кинофильма "Три дня и дитя". Его произведения переведены на английский, французский и другие европейские языки.

Игорь БИРМАН. Родился в 1928 г. в Москве. Окончил экономический институт. С 1960 года — кандидат экономических наук. Работал в промышленности и в научно-исследовательских институтах. Автор, соавтор и редактор 10 книг. Печатался также в "Известиях", "Литературной газете", специальных журналах. С 1974 г. живет в США, консультант по советской экономике.

Лидия ВОРОНИНА. Публицист. Заканчивает философскую аспирантуру американского католического университета в Вашингтоне. В прошлом — отказница, бывший член московской хельсинкской группы. В 1977 г. была выслана из Советского Союза.

Михаил ВАЙНШТЕЙН. Родился в 1928 г. в гор. Туле. Окончил литературное отделение Московского Полиграфического института. Многие годы жил и работал в Грузии, в Тбилиси. Заведовал русской редакцией издательства Союза писателей Грузии, работал заведующим отдела критики и заместителем редактора журнала "Литературная Грузия". Опубликовал 8 книг и более 200 статей по истории и теории русской и грузинской литературы. Был председателем бюро русской секции Союза писателей Грузии. С декабря 1977 года живет в Америке.

Дора ШТУРМАН. Филолог и историк. Родилась в 1923 году на Украине. В 1944 году была осуждена на пять лет за исследование творчества нескольких советских поэтов, связанное с рассмотрением некоторых сторон советской действительности. После освобождения закончила университет и преподавала русский язык и литературу. Одновременно продолжала заниматься исследованием ряда фундаментальных проблем советского строя. В настоящее время работает в Иерусалимском Университете. В Израиле — с начала 1977 года.

ВРЕМЯ И МЫ-1980год

Ко всем подписчикам и читателям журнала

Начиная с января 1980 года журнал "Время и мы" начинает издаваться как международный журнал литературы и общественных проблем с тремя центрами: в Тель-Авиве, Нью-Йорке и Париже. В связи с этим, естественно, расширится тематический круг журнала так же, как круг его авторов. На страницах журнала в 1980 году мы планируем публикацию лучших прозаических произведений самиздата. Предполагаются выступления Белля, Гольдштюккера, Виктора Некрасова, публикация писем Леонида Андреева, материалов процесса Кравченко (автора книги "Я выбрал свободу"). Мы предполагаем напечатать цикл эссе Льва Наврозова, рассказы и повести Александра Тучкова, американские рассказы Аркадия Львова, статьи и эссе Ефима Эткинда, Льва Копелева, Доры Штурман. Таким образом, журнал и дальше будет продолжать свою линию независимого гуманистического издания широкого профиля, на страницах которого найдут выражение любые взгляды и точки зрения, независимо от национальной, политической или религиозной принадлежности автора.

В связи с тем, что журнал "Время и мы" является беспартийным, независимым и никем не субсидируемым изданием, мы надеемся на более эффективную экономическую поддержку наших читателей. Поэтому наряду с обычными условиями подписки для тех, кто хочет помочь журналу и располагает соответствующими возможностями, предлагают несколько более высокие подписные цены.

Установлены следующие подписные цены на 1980 год:

В ИЗРАИЛЕ: на год — 1800 лир, на шесть месяцев — 1050 лир, с целью экономической поддержки журнала — 1900 лир и 1150 лир. (Оплатить подписку можно в три чека, первый — на день подписки, третий — не позднее мая 1980 года).

В США и КАНАДЕ: на год — 48\$, на шесть месяцев — 24\$. С целью экономической поддержки журнала — 60 и 30 (авиапочта — 96).

Во ФРАНЦИИ: на год — 220F.FR. на шесть месяцев — 110 F.FR. С целью экономической поддержки журнала 270 и 130 (авиапочта — 370)

В ГЕРМАНИИ на год — 92 DM, на шесть месяцев — 46 DM. С целью экономической поддержки журнала — 115 и 56 (авиапочта — 185).

"ВРЕМЯ и МЫ" - 1980 год

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1980 ГОД

Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:

Приложен чек.....

Подпись..... Дата

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" можно по русски — и высыпается по адресу: P.O.B. 24123, Tel-Aviv

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1980 ГОД

Авиапочтой
Обыкновенной почтой
Журнал высылать с номера.....

сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев

Журнал высылать по адресу:..

Приложен чек

Подпись..... Дата

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски - и высыпается по адресу: P.O.B. 24123, Tel Aviv, Israel



"КАРМАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ"

МИХАИЛА ДЕМИНА

Михаил Демин, которому, наряду с биографическими романами, принадлежат две остросюжетные повести /"И пять бутылок водки", "Тайны сибирских алмазов"/, недавно закончил работу над необычным словарем, который он сам называет "Блатной карманной энциклопедией".

"Карманная энциклопедия" состоит из нескольких разделов. Помимо традиционного словаря, она включает обширные главы, посвященные песенному блатному фольклору, а также легендам, сказам, разного рода преданиям. В "Энциклопедии" широко представлены поговорки, пословицы и частушки, которые, собственно, и составляют истинное богатство "блатного фольклора".

В "Энциклопедии" есть статьи по истории российско-го блатного мира, о происхождении жаргона, о "фенях" и скоморохах, об отечественном "черном" рынке, о воровских профессиях, о кровопролитной "сучьей войне" и о многом другом.

"Блатной жаргон непрерывно меняется, модернизируется, что, в сущности, закономерно, — пишет в предисловии Демин, — ведь "феня" — особый, тайный язык. Раскодированный, он лишается смысла... Однако в творчестве подпольного мира есть такие категории, которые никогда не меняются; в них точно отражены все этапы истории. Это прежде всего — легенды, песни, пословицы. И вот почему я самое главное внимание уделяю не словарю, а именно фольклору, надежно хранящему и точно отражающему весь многообразный, многолетний опыт социального дна каторжной жизни России".

ЭТЕЛЬ КОВЕНСКАЯ

ПЕСНЯ ЗА ПЕСНЕЙ

Двенадцать лучших песен актрисы в граммофонной записи.

Песни на русском, иврите, идише.

Булат Окуджава, Шолом-Алейхем, Альперн, Мангерн...

Несколько отзывов об Этель Ковенской:

Юрий Завадский: Этель Ковенская поет с феноменальным артистизмом.

Ирма Яунзен: Ее голос поразительно чист, без малейших следов жеманства, и изумительно музыкален, — притом не только в ее песнях, но и в ее устной декламации со сцены.

"Давар" /Тель-Авив/: Этель Ковенская — это подлинное сокровище израильского театра, в котором она, безусловно, уже заняла свое место. Она в равной степени и русская и еврейская певица. Массы евреев Советского Союза рвались на ее концерты, чтобы послушать ее песни и музыку.

"Последние новости" /Тель-Авив/: Ее артистизм удивительно сочетается с личным обаянием. В своих песнях она открывает новые пласты еврейского народного фольклора и предлагает нам в высшей степени оригинальную интерпретацию песен еврейских поэтов.

Пластинка Этель Ковенской выпускается в ближайшее время.

Стоимость в Израиле: 250 лир, за границей — 9 долларов, включая пересылку.

Заказы и прилагаемые к ним чеки присылать по адресу: Тель-Авив, Яффо-Далет, ул. Рубинштейна, 55/9, Э. Ковенской.

Вышел и рассылается подписчикам №4, 1979, завершающий второй год издания журнала

Читайте повесть Андрея Платонова "Ювенильное море" с послесловием проф. Михаила Геллера "Соблазн утопии".

Вслед за "Котлованом" и "Чевенгуром" наконец увидела свет последняя из неопубликованных повестей Платонова. /Самиздат/.

Кроме того, в номере:

ПРОЗА

Борис Вахтин. Летчик Тютчев, испытатель. Повесть /Самиздат/.
Вадим Делоне. Портреты в колючей раме.

Рассказы Надежды Сдельниковой, Юрия Милославского и Константина Скоблинского.

СТИХИ

Анри Волохонский, Алексей Хвостенко. Собрание песен /Послесловие Л. Ентина/.

Алексей Люсев. Памяти водки /Послесловие И. Бродского/
Андрей Монастырский. Из двух книг /Послесловие В. Тупицына/.

Сергей Петрунис. Иероглифы.

Владислав Лен. Прогулки. /Самиздат. Автор — издатель нового самиздатского альманаха "Бронзовый век", 1-й номер которого только что перепечатан в Австрии/.

Перепечатка раздела "Золотое детство" из самиздатского журнала "Женщина и Россия", с заявлением редактора Т. Мамоновой. Дело Михайлова. /Ленинград/.

Наше интервью с Владимиром Максимовым.

ВНИМАНИЮ БИБЛИОТЕК И УНИВЕРСИТЕТОВ!

С этого номера и постоянно — библиографические материалы /забытые русские писатели, библиография переводов, редкие публикации/. В этом номере: начало библиографического указателя "Андрей Платонович Платонов /1899 — 1951/". Составитель В. Марамзин.

ТОЛЬКО В ЕВРОПЕ:

Условия подписки в редакции — 85 фр. франков в год /4 номера в год, с доставкой/.

Для университетов и с целью поддержки — 110 фр. франков.

Цена номера в отдельной продаже — 35 франков.

Адрес редакции:

"ЭХО" с/о V. Maramzine, 302 rue des Pyrenees 75020 Paris

Представитель "Эхо" в Израиле — Ирина Гробман
Irina Grobman, 28 Ephraim str. Vak'a
Jerusalem, Israel

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче"

*"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой.
Цена в розничной продаже — 8 лир. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.*

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", ул. Шенкин, 26, Гиватаим.
Тел. (03)31-58-40.
28 Shenkin ft., Givataim.

Письма и корреспонденцию направлять по адресу: П.Я. 24123, Тель-Авив.

Типография "Дерби". Улица Амаадиль, 6. Т.—А.

OCR и вычитка - Давд Титиевский, июль 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

Художник Лев Ларский

Корректор и литературный редактор Эвелина Браверман

Технический редактор И. Левин

На четвертой странице обложки: Елена Фишер "ДВОЕ". /Тушь, перо/

